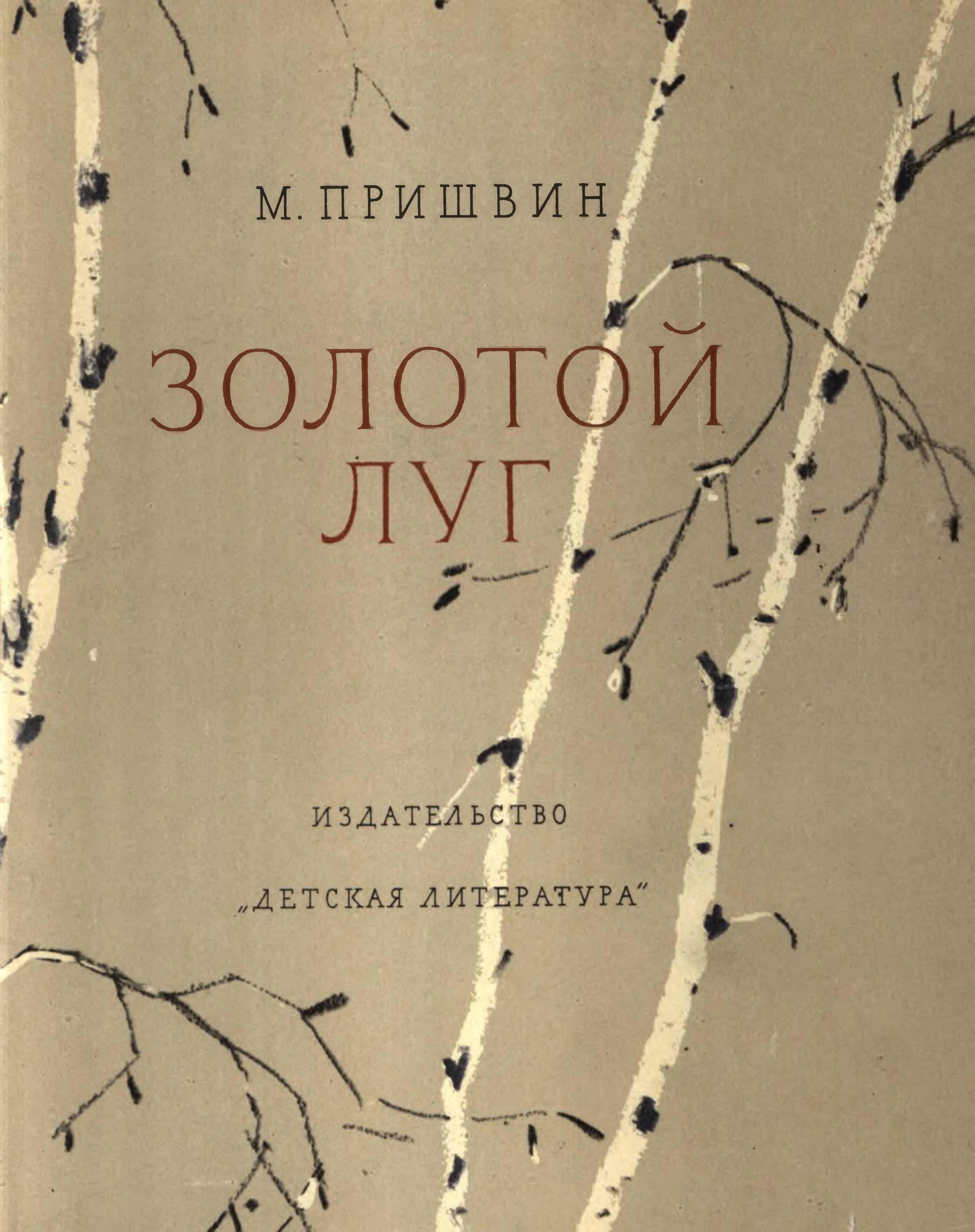


М. ПРИШВИН

ЗОЛОТОЙ ЛУГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"







Издательство
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва
1968



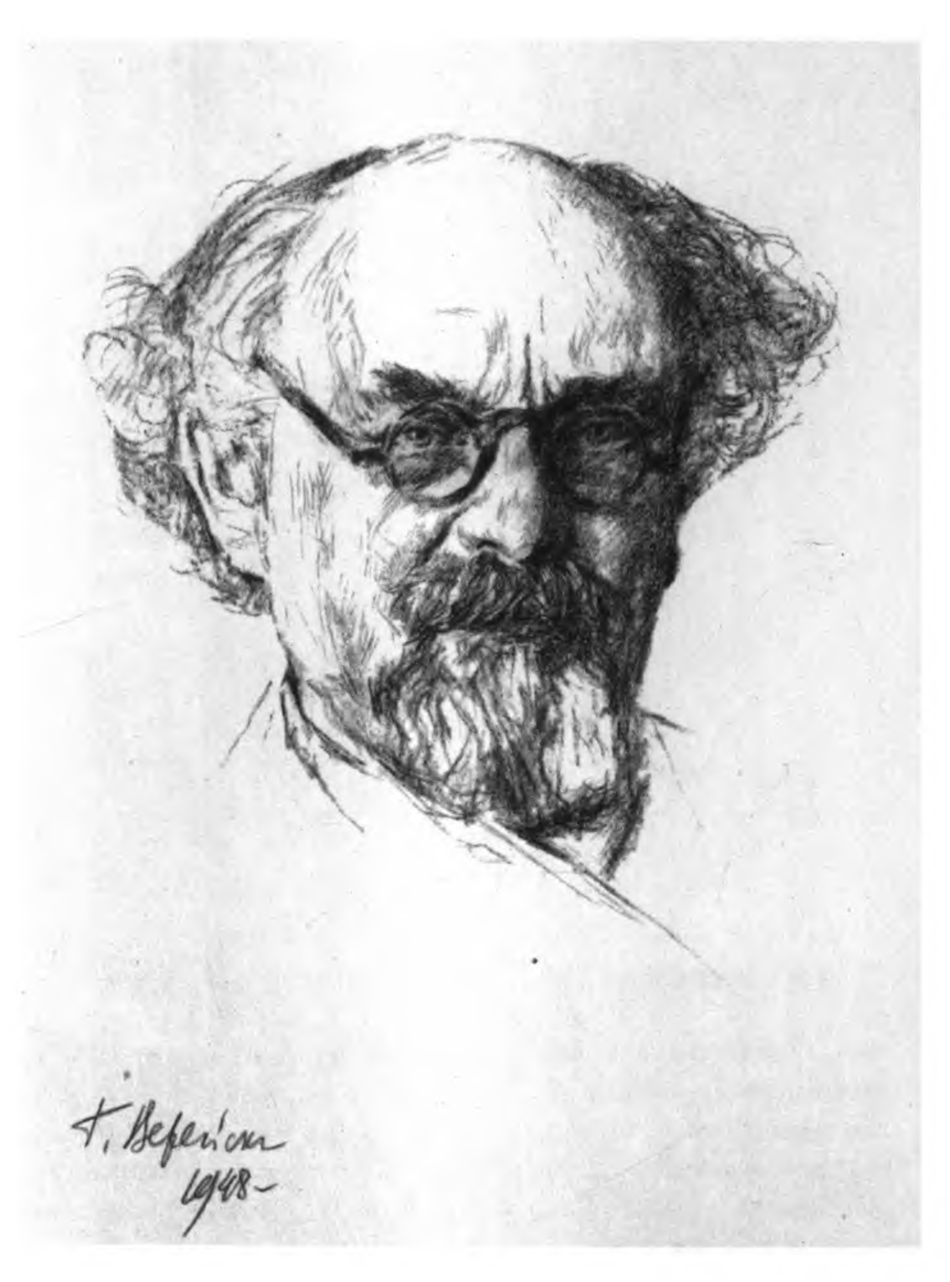


М. ПРИШВИН

Золотой луг

Р2
П 77

7—6—2



М. М. ПРИШВИН. *Автолитография Г. С. Верейского.*


РИСУНКИ
Е.РАЧЕВА



О МИХАИЛЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ПРИШВИНЕ

Не так давно это было: по улицам Москвы, еще влажным и блестящим от поливки, хорошо отдохнувшим за ночь от машин и пешеходов, в самый ранний час неторопливо проезжает маленький голубой «Москвич». За его рулем сидит старый шофер в очках, шляпа сдвинута на затылок, открывает высокий лоб и крутые завитки седых волос.

Глаза смотрят и весело, и сосредоточенно, и как-то по-двойному: и на тебя, прохожий, дорогой, еще незнакомый товарищ и друг, и внутрь себя, на то, чем занято внимание писателя.

Рядом, справа от шофера, сидит молодая, но тоже седая охотничья собака — серый длинношерстный сеттер Жалька и, подражая хозяину, внимательно смотрит перед собой в ветровое стекло.

Писатель Михаил Михайлович Пришвин был старейшим шофером Москвы. Он до восьмидесяти с лишним лет сам водил машину, сам ее осматривал и мыл и обращался в этом деле за помощью только в крайних случаях. Михаил Михайлович относился к своей машине почти как к живому существу и называл ее ласково: «Маша».

Машина ему нужна была исключительно для его писательской работы. Ведь с ростом городов нетронутая природа все отдалялась, а вышагивать по многу километров для свидания с ней, как в молодости, он — старый охотник и ходок — уже был не в силах. Вот почему Михаил Михайлович называл свой ключик от машины «ключом счастья и свободы». Он носил его всегда в кармане на металлической цепочке, вынимал, позвякивал им и говорил нам:

— Какое это великое счастье — иметь возможность в любой час нащупать ключик в кармане, подойти к гаражу, самому сесть за руль и укатить куда-нибудь в лес и там карандашиком в книжке отмечать ход своих мыслей.

Летом машина стояла на даче в деревне Дунино под Москвой. Михаил Михайлович вставал очень рано, часто с восходом солнца, и сразу садился со свежими силами за работу. Когда в доме начиналась жизнь, он, по его словам, уже «отписавшись», выходил в сад, заводил там свой «Москвич», рядом садилась Жалька, ставилась большая корзина для грибов. Три условных гудка: «Про-

щайте, прощайте, прощайте!» — и машина катит в леса, на многие километры уходящие от нашего Дунина в сторону, противоположную Москве. К обеду она вернется.

Однако бывало и так, что часы проходят за часами, а «Москвича» все нет. Соседи, друзья сходятся у нашей калитки, начинаются тревожные предположения, и вот уже целая бригада собирается идти на поиски и выручку... Но тут раздается знакомый короткий гудок: «Здравствуйте!» И машина подкатывает.

Михаил Михайлович выходит из нее усталый, на нем следы земли: видно, где-то пришлось лежать на дороге. Лицо потное и запыленное. Михаил Михайлович несет на ремешке через плечо корзину грибов, делая вид, что ему очень тяжело, — до того она полна. Лукаво поблескивают из-под очков неизменно серьезные зеленовато-серые глаза. Сверху, все прикрывая, лежит в корзине огромный боровик. Мы ахаем: «Белые!» Мы готовы сейчас всему радоваться от души, успокоенные тем, что Михаил Михайлович вернулся и все кончилось благополучно.

Михаил Михайлович садится с нами на скамейку, снимает шапку, вытирает лоб и великодушно сознается, что белых грибов всего лишь один, а под ним всякая незначительная мелочь, вроде сыроежек, — и смотреть не стоит, но зато, поглядите, какой гриб ему посчастливилось встретить! А ведь без белого, хотя бы одного, мог ли он вернуться? К тому же, оказывается, машина на лесной вязкой дороге села на пень, пришлось лежа выпиливать этот пень под днищем машины, а это не скоро и нелегко. И не все же пилить и пилить — в промежутках сидел на пнях и записывал приходившие мысли в книжечку.

Михаил Михайлович начинает читать полюбившуюся ему новую запись, и мы забываем весь мучительный день тревог и ожиданий.

Жалька, видимо, разделяла все переживания своего хозяина, у нее довольный, но все же усталый и какой-то помятый вид. Рассказать она сама ничего не может, но Михаил Михайлович рассказывает нам за нее:

— Запер машину, оставил для Жальки только форточку. Я хотел, чтобы она отдохнула. Но как только я скрылся из виду, Жалька начала выть и страдать ужасно. Что делать? Пока я думал, что делать, Жалька выдумала что-то свое. И вдруг является с извинениями, обнажая белые зубы улыбкой. Всем своим видом помятым и особенно этой улыбкой — весь нос на боку и все тряпки — губы, а зубы на виду — она как бы говорила: «Трудно было!» — «А что?» — спросил я. Опять у нее все тряпки набок и зубы на виду. Я понял: вылезла в форточку.

Так жили мы летом. А зимой машина стояла в холодном московском гараже. Михаил Михайлович не пользовался ею, предпочитая обычный городской транспорт. Она вместе со своим хозяином терпеливо пережидала зиму, чтобы как можно раньше весной вернуться в леса и поля.

Самой большой нашей радостью было идти куда-нибудь далеко вместе с Михаилом Михайловичем, только непременно вдвоем. Третий был бы помехой, потому что у нас был заключен договор: по дороге молчать и лишь изредка перекидываться словом.

Михаил Михайлович все время поглядывает по сторонам, что-то обдумывает, время от времени присаживаясь, записывает быстро карандашом в карманную книжку. Потом встанет, блеснет веселым своим и внимательным глазом — и опять мы зашагаем рядом по дороге.

Когда дома он прочтет тебе записанное, дивишься: мимо

всего этого сам ты шел, и видя — не видел и слыша — не слышал! Получалось так, будто Михаил Михайлович идет следом за тобой, собирает твое, утерянное от твоего невнимания, и теперь приносит тебе же его, как подарок.

Мы всегда возвращались с наших прогулок нагруженные такими подарками.

Расскажу про один поход, а таких за жизнь с Михаилом Михайловичем было у нас очень много.

Шла Великая Отечественная война. Трудное это было время. Мы уехали из Москвы в глухие места Ярославской области, где Михаил Михайлович в прежние годы часто охотился и где оставалось у нас немало друзей.

Жили мы, как и все окружавшие нас люди, тем, что давала нам земля: что вырастим на своем огороде, что в лесу соберем. Иногда Михаилу Михайловичу удавалось подстрелить дичинку. Но и в этих условиях он неизменно с раннего утра брался за карандаш и бумагу.

В то утро собрались мы по одному делу в дальнюю деревню Хмельники километров за десять от нашей. Надо было выходить на заре, чтобы дотемна вернуться домой.

Я проснулась от его веселых слов:

— Посмотри, что в лесу делается! У лесовика — стирка.

— С утра за сказки! — ответила я недовольно: мне не хотелось еще подниматься.

— А ты посмотри, — повторил Михаил Михайлович.

Окно наше выходило прямо в лес. Солнце еще не выглянуло из-за края неба, но рассвет был виден сквозь прозрачный туман, в котором плавали деревья. На их зеленых ветках были развешаны во множестве какие-то легкие белые полотна. Казалось,

действительно в лесу шла большая стирка, кто-то сушит все свои простыни и полотенца.

— Правда, у лесовика стирка! — воскликнула я, и весь сон мой убежал. Я сразу догадалась: это была обильная паутина, покрытая мельчайшими каплями тумана, еще не превратившегося в росу.

Мы быстро собрались, даже не попили чаю, решив его вскипятить по дороге, на привале.

Тем временем выглянуло солнце, оно послало свои лучи на землю, лучи проникли в густую чащу, осветили каждую ветку... И тут все переменилось: это были уже не простыни, а покрывала, расшитые алмазами. Туман осел и превратился в крупные капли росы, сверкающие как драгоценные камни.

Потом и алмазы высохли, и остались одни тончайшие кружева паучьих ловушек.

— Мне жаль, что стирка у лесовика — только сказка! — огорченно заметила я.

— Вот еще, зачем тебе эта сказка? — ответил Михаил Михайлович. — И без нее вокруг столько чудес! Хочешь, мы вместе будем их по пути замечать, только молчи, не мешай им показываться.

— Даже в болоте? — спросила я.

— Даже в болоте, — ответил Михаил Михайлович.

Мы шли уже открытыми местами, краем заболоченного берега нашей речки Вексы.

— Скорей бы выйти на лесную дорогу, какая может быть здесь сказка, — говорю я, с трудом вытаскивая ноги из вязкой торфяной земли. Каждый шаг — усилие.

— Давай отдохнем, — предлагает Михаил Михайлович и садится на корягу. Но оказывается, это не мертвая коряга, это живой ствол наклоненной ивы, — она лежит на берегу из-за сла-

бого упора корней в жидкой болотистой почве и, так — лежа, растет, и концы ее веток при каждом порыве ветра касаются воды.

Я тоже сажусь у самой воды и рассеянным глазом замечаю, что на всем пространстве под ивой река покрыта, как зеленым ковром, мелкой плавучей травою — ряской.

— Видишь? — таинственно спрашивает Михаил Михайлович. — Вот тебе первая сказка — про ряски: сколько их, и все разные; маленькие, а какие проворные... Собрались в большой зеленый стол возле ивы, и накопились здесь, и за иву все держатся. Течение отрывает кусочки, дробит их, и они, зелененькие, плывут, но другие пристают и накопляются. Так вырастает зеленый стол. И на этом столе располагаются жить ракушки-башмачки. Но и башмачки здесь не одни, приглядись: здесь собралось большое общество! Вон наездники — комары высокие. Где течение посильней, они стоят прямо на чистой воде, как на стеклянном полу стоят, расставили свои длинные ноги и несутся себе вниз вместе с водяной струей.

— Вода возле них часто искрится, — отчего бы это?

— Наездники волну поднимают, — это солнце играет в их мелкой волне.

— Велика ли волна от наездников?

— А их тысячи! Когда смотришь на их передвижение против солнца, то вся вода играет и покрывается от волны мелкими звездочками.

— А под рясками-то внизу что делается! — воскликнула я.

Там в воде сновали полчища крохотных мальков, доставая себе что-то полезное из-под рясок.

Тут я заметила на зеленом столе оконца вроде прорубей.

— Откуда они?

— Ты бы сама догадалась, — ответил мне Михаил Михайлович. — Это крупная рыба нос высунула — вот и остались оконца.

Мы простились со всем обществом под ивой, отправились дальше и скоро вышли на трясницу — так называются у нас тростниковые заросли на зыбком месте, на болоте. Туман уже поднялся над рекой, и показались мокрые сверкающие штыки тростников. В тишине на солнечном свете они стояли неподвижно.

Михаил Михайлович меня остановил и сказал шепотом:

— Замри теперь, и смотри на тростники, и жди событий.

Так мы стояли, время текло, и ничего не происходило...

Но вот одна тростинка шевельнулась, кто-то ее толкнул, и другая рядом, и еще, и пошло, и пошло...

— Что бы это было наверху? — спросила я. — Ветер, стрекоза?

— Стрекоза! — укоризненно посмотрел на меня Михаил Михайлович. — Это бывает, когда шмель тяжелый шевелит каждым цветком, а голубая стрекоза — только она может так сесть на водяную тростинку, что та и не шевельнется!

— Так что же это?

— Не ветер, не стрекоза, — это была щука! — с торжеством открывает мне секрет Михаил Михайлович. — Я заметил, как она увидала нас и шарахнулась с такой силой, что было слышно, как стучала по тростникам, и видно, как наверху они шевелились по ходу рыбы. Но это были какие-то мгновенья, и ты их пропустила!

Мы шли теперь самыми глухими местами нашей трясницы. Вдруг мы услышали крики, похожие отдаленно на звуки труб.

— Это журавли трубят, поднимаясь с ночевки, — сказал Михаил Михайлович.

Скоро мы их увидали, они летели над нами парой, низко и тяжело, над самыми тростниками, словно совершали какое-то большое трудное дело.

— Мечутся, трудятся, — гнезда стеречь, птенцов кормить, враги повсюду... Вот зато и летят тяжело, а все-таки летят! Трудная жизнь у птицы, — задумчиво сказал Михаил Михайлович. — Я это понял, когда встретился раз с самим Хозяином тростников.

— С водяным? — покосилась я на Михаила Михайловича.

— Нет, это сказка про правду, — ответил он очень серьезно. — Она у меня записана. — Он вынул записную книжечку и стал читать глуховато, неторопливо, с остановками и раздумьями на паузах, как один только он умел читать свои записи и рассказы.

Он читал будто беседовал сам с собой.

— *«Встреча с Хозяином тростников,* — начал он. — Мы шли с моей собакой краем трясницы возле тростников, за полосой которых был лес. Шаги мои по болоту едва были слышны. Может быть, собака, бегая, пошумела тростинками, и одна по одной они передали шум и встревожили стерегущего своих молодок Хозяина тростников.

Он, потихоньку ступая, раздвинул тростники и выглянул в открытое болото... Я увидал перед собой в десяти шагах отвесно стоявшую среди тростников длинную шею журавля. Он, ожидая увидеть самое большее лисицу, посмотрел на меня, как если бы я посмотрел на тигра, смешался, спохватился, побежал, замахал и, наконец, медленно поднялся на воздух». Трудная жизнь, — повторил Михаил Михайлович и спрятал свою книжку в карман.

В это время опять трубанули журавли, и тут, пока мы слушали, а журавли трубили, перед нашими глазами шевельнулись тростники и любопытная водяная курочка вышла к воде и прислушалась, нас не замечая. Журавли еще крикнули, и она тоже крикнула по-своему...

— Я впервые понял этот звук! — сказал мне Михаил Михай-

лович, когда курочка исчезла в тростниках. — Она, маленькая, хотела крикнуть тоже, как журавли, только для того хотела крикнуть, чтобы лучше солнце прославить. Ты заметь — на восходе все, кто как умеет, славят солнце!

Снова раздался знакомый трубный звук, но какой-то отдаленный.

— Это не наши, это на другом болоте гнездовые журавли, — сказал Михаил Михайлович. — Когда издали кричат, всегда кажется, будто у них там как-то совсем не по-нашему хорошо, интересно, и хочется поскорее к ним пойти поглядеть!

— Может, для того и наши к тем полетели? — спросила я.

Но на этот раз Михаил Михайлович ничего мне не ответил.

После мы долго шли и больше ничего с нами не случалось.

Правда, еще один раз над нами показались в полете длинноногие крупные птицы, — я узнала: это были цапли. Видно было по их полету — они не из здешнего болота: они летели откуда-то издалека, высоко, деловито, стремительно и все прямо, прямо...

— Будто какие межевики воздушные взялись пополам весь земной шар разделить, — сказал Михаил Михайлович и долго следил за их полетом, запрокинув голову и улыбаясь.

Тут вскоре кончились тростники, и мы вышли на совсем высокий сухой берег над рекой, где Векса делала крутой изгиб, и в этом изгибе чистая вода на солнечном свету вся была покрыта ковром водяных лилий. Желтые во множестве раскрыли свои венчики навстречу солнцу, белые стояли в плотных бутонах.

— Я читала у тебя в книжке: «Желтые лилии раскрыты с самого восхода солнца, белые раскрываются часов в десять. Когда все белые распустятся, на реке начинается бал». Это правда, что в десять? И почему бал? Может быть, ты это придумал, как про стирку лесовика?

— Давай разведем здесь костер, вскипятим чайку и закусим, — вместо ответа сказал мне Михаил Михайлович. — А как солнце подымется, в самый жар мы уже будем в лесу, он недалеко.

Мы натаскали хворосту, веток, устроили сиденье, повесили над костром котелок... Потом Михаил Михайлович стал записывать в свою книжку, а я незаметно для себя задремала.

Когда я проснулась, солнце прошло по небу уже порядочный путь. Белые лилии раскинули широко свои лепестки и, как дамы в кринолинах, танцевали на волнах с кавалерами в желтом под музыку быстро бегущей реки; волны под ними переливались на солнце, тоже как музыка.

В воздухе над лилиями танцевали разноцветные стрекозы.

На берегу в траве танцевали трескунцы — кузнечики, голубые и красные, взлетающие вверх, как пожарные искры. Красных было больше, но, может быть, нам так показалось от жарких солнечных бликов в глазах.

Все двигалось, переливалось вокруг нас и благоухало.

Михаил Михайлович молча протянул мне часы: на них было половина одиннадцатого.

— Открытие бала ты проспала! — сказал он.

Жара нам была уже не страшна: мы вошли в лес и углубились по дороге. Она давным-давно когда-то была уложена кругляком: это люди сделали для подвоза дров к сплавной речке.

Они вырыли две канавы, наложили между ними тонких стволов деревьев один к одному, как паркет. Потом дрова вывезли, а дорогу забыли. И лежит себе круглячок годами, гниет...

Теперь по осушенным бровкам встал высокий красавец иван-чай и пышная красавица медуница. Мы шли осторожно, чтоб их не помять.

Вдруг Михаил Михайлович схватил меня за руку и сделал знак молчанья: шагах в двадцати от нас по теплому круглячку между иван-чаем и медуницей разгуливала большая птица в переливчато-темном оперенье с ярко-красными бровями. Это был глухарь. Он темной тучей поднялся в воздухе и с шумом скрылся между деревьями. В полете он показался мне огромным.

— Глухариная аллея! Делали для дров, а пригодилось птицам, — сказал Михаил Михайлович.

С тех пор мы так и зовем эту лесную дорогу на Хмельники «глухариной аллеей».

Еще нам попались на ней два забытых кем-то штабеля березовых дров. От времени штабеля стали подгнивать и кланяться друг другу, несмотря на распорки, между ними когда-то поставленные... А рядом гнили их пни. Эти пни напоминали нам, что когда-то росли дрова прекрасными деревьями. Но вот пришли люди, срубили и забыли, и гниют теперь бесполезно и деревья и пни...

— Может быть, война помешала вывезти? — спросила я.

— Нет, это случилось много раньше. Еще какая-то другая беда людям помешала, — ответил Михаил Михайлович.

Мы с невольным сочувствием смотрели на штабеля.

— Стоят они теперь сами, будто люди, — сказал Михаил Михайлович, — склонились висками друг к другу...

Между тем вокруг штабелей кипела уже новая жизнь: внизу паутинками соединили их пауки и по распоркам перебегали трясогузки...

— Посмотри, — сказал Михаил Михайлович, — между ними растет молодой березовый подлесок. Он успел перешагнуть их высоту! Знаешь, откуда у этих молодых березок такая сила роста? — спросил он меня и сам ответил: — Это березовые дрова,

сгнивая, дают вокруг себя такую буйную силу. Так вот, — заключил он, — дрова вышли из леса и в лес возвращаются.

И мы весело простились с лесом, выходя к деревне, куда держали свой путь.

На этом бы и можно закончить свой рассказ о нашем походе в то утро. Только еще несколько слов об одной березке: мы заметили ее, подходя к деревне, — молодую, в рост человека, похожую на девочку в зеленом платье. На головке ее был один желтый лист, хотя еще стояла середина лета.

Михаил Михайлович посмотрел на березку и что-то записал в книжку.

— Что ты записал?

Он мне прочел:

— «Видел Снегурочку в лесу: одна сережка у нее из золотого листика, а другая еще зеленая».

И это был в тот раз его последний мне подарок.

Писателем Пришвин сделался так: в молодые годы — давно это было, полвека назад, — он обошел пешком весь Север с охотничьим ружьем за плечами и написал об этом своем путешествии книжку. Был тогда наш Север диким, людей было там мало, птицы и звери жили, не пуганные человеком. Так и назвал он свою первую книжку: «В краю непуганых птиц». На северных озерах тогда плавали дикие лебеди. А когда много лет спустя Пришвин снова приехал на Север, знакомые озера были соединены Беломорским каналом, и по ним уже не лебеди плавали, а наши советские пароходы; много за долгую жизнь видел Пришвин на родине своей перемен.

Есть одна старинная сказка, она начинается так: «Бабушка взяла крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, набрала

муки пригоршни две и сделала веселый колобок. Он полежал-полежал да вдруг и покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца во двор да за ворота — дальше, дальше...»

Михаил Михайлович к этой сказке приделал свой конец, будто за этим колобком сам он, Пришвин, пошел по белу свету, по лесным тропам, и берегам рек, и моря, и океана — все шел и шел за колобком. Так и новую книжку свою он назвал — «Колобок». Впоследствии тот же волшебный колобок привел писателя на юг, в азиатские степи, и на Дальний Восток.

О степях есть у Пришвина повесть «Черный Араб», о Дальнем Востоке — повесть «Жень-Шень». Эта повесть переведена на все основные языки народов земного шара.

Из края в край обежал колобок нашу богатую родину и, когда все осмотрел, стал кружиться возле Москвы, по берегам маленьких речек — тут была и какая-то речка Вертушинка, и Невестинка, и Сестра, и какие-то безымянные озерки, названные Пришвиным «глазами земли». Тут-то, в этих близких нам всем местах, колобок открыл своему другу, пожалуй, еще больше чудес.

О среднерусской природе широко известны его книги: «Календарь природы», «Лесная капель», «Глаза земли».

Михаил Михайлович не только детский писатель — книги свои он писал для всех, но с одинаковым интересом читают их и дети. Писал он только о том, что он сам видел и сам пережил в природе.

Так, например, чтобы описать, как происходит весенний разлив рек, Михаил Михайлович строит себе из обыкновенного грузовика фанерный домик на колесах, берет с собой резиновую складную лодку, ружье и все, что нужно для одинокой жизни в лесу, отправляется на места разлива реки нашей — Волги и там наблю-

дает, как спасаются от заливающей сушу воды самые крупные звери — лоси и самые маленькие — водяные крысы и землеройки.

Так проходят дни: за костром, охотой, с удочкой, фотоаппаратом. Весна движется, земля начинает обсыхать, показывается трава, деревья зеленеют. Проходит лето, потом осень, наконец, летят белые мухи, и мороз начинает мостить дорогу в обратный путь. Тогда Михаил Михайлович возвращается к нам с новыми рассказами.

Все мы знаем и деревья в наших лесах, и цветы на лугах, и птиц, и разных зверушек. Но Пришвин поглядел на них своим особым зорким глазом и увидал такое, что нам и невдомек.

«Оттого лес называется темным, — пишет Пришвин, — что солнце смотрит в него, как сквозь узкое оконце, и не все видит, что совершается в лесу».

Даже солнце не все замечает! А художник узнает тайны природы и радуется, их открывая.

Вот он нашел в лесу удивительную берестяную трубочку, в которой оказалась кладовая какого-то трудолюбивого зверька.

Вот он побывал на именинах осинки, — и мы подышали вместе с ним радостью весеннего расцвета.

Вот он подслушал песню совсем незаметной маленькой птички на самом верхнем пальчике елки, — теперь он знает, о чем они все свистят, шепчутся, шелестят и поют!

Так катится и катится колобок по земле, сказочник идет за своим колобком, и мы идем вместе с ним и узнаем бесчисленных маленьких родственников в нашем общем Доме природы, учимся любить свою родную землю и понимать ее красоту.

В. Пришвина

МОЯ РОДИНА

(Из воспоминаний детства)

Мать моя вставала рано, до солнца. Я однажды встал тоже до солнца, чтобы на заре расставить силки на перепелок. Мать угостила меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху всегда покрывалось румяной пенкой, а под этой пенкой оно было необыкновенно вкусное, и чай от него делался прекрасным.

Это угощение решило мою жизнь в хорошую сторону: я начал вставать до солнца, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Мало-помалу я к этому утреннему вставанию так привык, что уже не мог проспать восход солнца.

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано, когда весь животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать.

И часто-часто я думаю: что, если бы мы так для работы своей поднимались с солнцем! Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья!

После чаю я уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня еще не было, да и теперь ружье в моей охоте необязательно.

Моя охота была и тогда и теперь — в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я еще не видел, и может быть, и никто еще в своей жизни с этим не встречался.

Перепелку самку надо было поймать силками такую, чтобы она лучше всех подзывала самца, а самца поймать сетью самого голосистого. Соловья молодого надо было кормить муравьиными яичками, чтобы потом пел лучше всех. А поди-ка найди такой муравейник да ухитрись набить мешок этими яйцами, а потом отманить муравьев на ветки от своих драгоценных яичек.

Хозяйство мое было большое, тропы бесчисленные.

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять — их надо открывать и показывать.

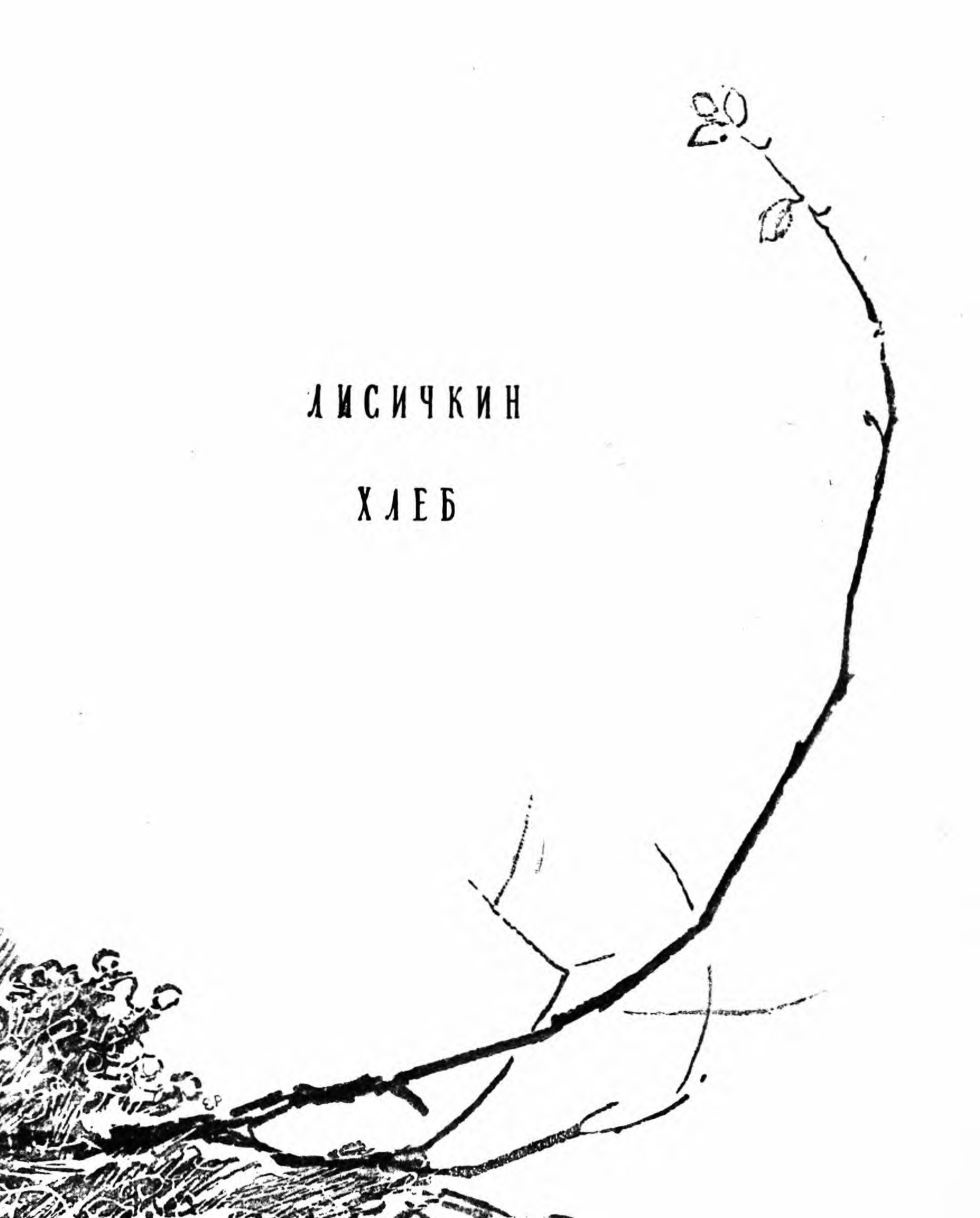
Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши леса, степи, горы.

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину.





ЛИСИЧКИН ХЛЕБ





ЛИСИЧКИН ХЛЕБ

Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. Снял с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол.

— Это что за птица? — спросила Зиночка.

— Терентий, — ответил я.

И рассказал ей про тетерева: как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хохолком, и посвистел в дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягода костяника, и голубая черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся.

— Кто же их там лечит? — спросила Зиночка.

— Сами лечатся,— ответил я.— Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет.

Тоже, нарочно для Зиночки, принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, петров крест, заячья капуста.

И как раз под заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что когда не возьму хлеба в лес — голодно, а возьму — забуду съесть и назад принесу.

А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела:

— Откуда же это в лесу взялся хлеб?

— Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста!

— Заячья...

— А хлеб — лисичкин. Отведай.

Осторожно попробовала и начала есть:

— Хороший лисичкин хлеб!

И съела весь мой черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из лесу лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и похвалит:

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего!

„ИЗОБРЕТАТЕЛЬ"

В одном болоте на кочке под ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе.

Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец разноцветный селезень и две уточки, Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас во дворе вместе с домашними птицами: куры были у нас и гуси.

С наступлением новой весны устроили мы своим ди-

карям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда. Дуся положила себе в гнездо шестнадцать яиц и стала высиживать утят. Муся положила четырнадцать, но сидеть на них не захотела. Как мы ни бились, пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — Пиковую Даму.

Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне, в тепле, крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая, теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, и Пиковая Дама своих — в огород за червями.

— Свись-свись! — утята в пруду.

— Кряк-кряк! — отвечает им утка.

— Свись-свись! — утята в огороде.

— Квох-квох! — отвечает им курица.

Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно.

«Свись-свись» — это значит: «свои к своим».

А «кряк-кряк» — значит: «вы — утки, вы — кряквы, скорей плывите».

И они, конечно, глядят туда, к пруду.

— Свои к своим!

И бегут.

— Плывите, плывите!

И плывут.

— Квох-квох! — упирается важная курица на берегу.

Они всё плывут и плывут. Сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся; по Мусе они были ей родные племянники.

Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день Пиковая Дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квохтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей!

— Дрянь-дрянь! — отвечала ей кряква.

А вечером она всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важной птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами; ни один даже на такую мать и не поглядел. Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне, возле плиты.

Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны.

На утиный крик стéны нашего дома, сделанного из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутерьме мы расслышали отдельно голос одного утенка.

— Слышите? — спросил я своих ребят.

Они прислушались.

— Слышим! — закричали.

И пошли в кухню.

Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть стену корзинки высотой сантиметров в тридцать?

Стали мы об этом догадываться, и тут явился новый вопрос: сам утенок придумал себе какой-нибудь способ

выбраться из корзины вслед за матерью или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила? Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо.

Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утиный утренний крик, мы — в кухню. На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой.

Все утята, заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался. Я сказал:

— Он что-то придумал.

— Он изобретатель! — крикнул Лева.

Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот «изобретатель» решает труднейшую задачу: на своих утиных перепончатых лапках подняться по отвесной стене. Я встал на следующее утро до свету, когда и ребята мои и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет, дать свет и рассмотреть события в глубине корзины. И вот побелело окно. Стало светать.

— Кряк-кряк! — проговорила Дуся.

— Свись-свись! — ответил единственный утенок.

И все замерло. Спали ребята, спали утята.

Раздался гудок на фабрике. Свету прибавилось.

— Кряк-кряк! — повторила Дуся.

Никто не ответил. Я понял: «изобретателю» сейчас некогда — и сейчас, наверно, он и решает свою труднейшую задачу. И я включил свет.

Ну, так вот я и знал! Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали



в тепле под матерью, только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх, к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко, на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края — и кувырк вниз! Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма: крик, свист на весь дом.

Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло и пошло: чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз.

А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали Изобретателем.

ЖИЗНЬ НА РЕМЕШКЕ

Зиночка моя совсем приуныла: никак не одолеет арифметику. Чтоб развлечь ее, я взял бедняжку с собой в лес. Мы вышли с ней на полянку, где я охотился в прошлом году. Чтоб заметить это место на вырубке, я сломил тогда молодую березку, она повисла, помню, почти только на одном узеньком ремешке коры.

Я узнал это место, и вот удивление: березка висела зеленая на одном ремешке; ремешок коры подавал сок висящим сучьям.

— Ну, Зиночка, — сказал я, — не унывай. Коли березка на одном ремешке живет и зеленеет, то уж у тебя-то хватит духу на арифметику.

РЕБЯТА И УТЯТА

Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась наконец-то перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты за три, на кочке, в болотистом лесу. А когда вода спáла, пришлось все три версты путешествовать к озеру.

В местах, открытых для глаз человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их вперед. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались закидать шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел.

— Что вы будете делать с утятами? — строго спросил я ребят.

Они струсили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то «пустим»! — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

— Живо, — приказал я ребятам, — идите и возвратите ей всех утят!

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята — пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеетесь, глупыши? — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Снимайте живо все шапки, кричите «до свиданья»!

И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух; все разом закричали ребята:

— До свиданья, утята!

ЛЕСНОЙ ДОКТОР

Мы бродили весной в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц: дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для стеклянного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было уже поздно: наша осина лежала, и вокруг ее пня было множество пустых еловых шишек. Это все дятел отшелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осинку, закладывал между двумя суками своей мастерской и долбил. Около пня, на срезанной нашей осине, два паренька отдыхали. Эти два паренька только и занимались тем, что пилили лес.

— Эх вы, проказники! — сказали мы и указали им на срезанную осину. — Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?

— Дятел дырки наделал, — ответили ребята. — Мы поглядели и, конечно, спилили. Все равно пропадет.

Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве, не более метра в длину, внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор: выстукал ее своим клювом, понял пустоту, оставляемую червем, и

приступил к операции извлечения червя. И второй раз, и третий, и четвертый... Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами. Семь дырок сделал «хирург» и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину. Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея.

— Видите, — сказали мы ребятам, — дятел — это лесной доктор, он спас осину, и она бы жила и жила, а вы ее срезали.

Пареньки подивились.

ЁЖ

Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога — он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

— А, ты так со мной! — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.

Мгновенно ёж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много. Я слышал — ёжик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ёжик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу, и — здравствуйте! — ёжик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка.

Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна и облако, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверно, очень нравились ёжику: он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел на кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажег свечку и только заметил, как ёж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посередине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ёжику газета понадобилась?» Скоро мой жилец выбежал из-под кровати — и прямо к газете; завертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была, как в лесу сухая листва, он тащил ее себе для гнезда. И оказалось, правда: в скором времени ёж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу — луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

— Что тебе еще надо?

Ёжик не испугался.

— Пить хочешь?

Я встал. Ёжик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды в тарелку, то опять вылью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек поплескивает.

— Ну, иди, иди... — говорю. — Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода...

Смотрю: будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется — и я двину, да так и сошлись.

— Пей, — говорю окончательно.

Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:

— Хороший ты малый, хороший!

Напился ёж, я говорю:

— Давай спать.

Лег и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа.

Зажигаю свечу — и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол,

а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит — на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью в блюдечко — выпьет, то булочки дам — съест.

ЗОЛОТОЙ ЛУГ

У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел — он впереди, я в пяту.

«Сережа!» — позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг — золотой». Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой.

Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.



КУРИЦА НА СТОЛБАХ

Весной соседи подарили нам четыре гусиных яйца, и мы подложили их в гнездо нашей черной курицы, прозванной Пиковой Дамой. Прошли положенные дни для высиживания, и Пиковая Дама вывела четырех желтеньких гуськов. Они пищали, посвистывали совсем по-иному, чем цыплята, но Пиковая Дама, важная, нахохленная, не хотела ничего замечать и относилась к гусятам с той же материнской заботливостью, как к цыплятам.

Прошла весна, настало лето, везде показались одуванчики. Молодые гуськи, если шеи вытянут, становятся чуть ли не выше матери, но всё еще ходят за ней. Бывает,

однако, мать раскапывает лапками землю и зовет гуськов, а они занимаются одуванчиками, тукают их носами и пускают пушинки по ветру. Тогда Пиковая Дама начинает поглядывать в их сторону, как нам кажется, с некоторой долей подозрения. Бывает, часами, распушенная, с квохтаньем, копает она, а им хоть бы что: только посвистывают и поклевывают зеленую травку. Бывает, собака захочет пройти куда-нибудь мимо нее, — куда тут! Кинется на собаку и прогонит. А после и поглядит на гуськов, бывает, задумчиво поглядит...

Мы стали следить за курицей и ждать такого события, после которого наконец она догадается, что дети ее вовсе даже на кур не похожи и не стоит из-за них, рискуя жизнью, бросаться на собак.

И вот однажды у нас на дворе событие это случилось. Пришел насыщенный ароматом цветов солнечный июньский день. Вдруг солнце померкло, и петух закричал.

— Квох, квох! — ответила петуху курица, зазывая своих гусят под навес.

— Батюшки, туча-то какая находит! — закричали хозяйки и бросились спасать развешанное белье.

Грянул гром, сверкнула молния.

— Квох, квох! — настаивала курица Пиковая Дама.

И молодые гуси, подняв высоко шеи свои, как четыре столба, пошли за курицей под навес. Удивительно нам было смотреть, как по приказанию курицы четыре порядочных, высоких, как сама курица, гусенка сложились в маленькие штучки, подлезли под наседку и она, распушив перья, распластав крылья над ними, укрыла их и угрела своим материнским теплом. Но гроза была недол-

гая. Туча пролилась, ушла, и солнце снова засияло над нашим маленьким садом.

Когда с крыш перестало литься и запели разные птички, это услыхали гусята под курицей, и им, молодым, конечно, захотелось на волю.

— На волю, на волю! — засвистали они.

— Квох, квох! — ответила курица.

И это значило:

— Посидите немного, еще очень свежо.

— Вот еще! — свистели гусята. — На волю, на волю!

И вдруг поднялись на ногах и подняли шеи, и курица поднялась, как на четырех столбах, и закачалась в воздухе высоко от земли.

Вот с этого разу все и кончилось у Пиковой Дамы с гусями: она стала ходить отдельно, и гуси отдельно; видно, тут только она все поняла, и во второй раз ей уже не захотелось попасть на столбы.

ПИКОВАЯ ДАМА

Курица непобедима, когда она, пренебрегая опасностью, бросается защищать своего птенца. Моему Трубачу стоило только слегка нажать челюстями, чтобы уничтожить ее, но громадный гонец, умеющий постоять за себя и в борьбе с волками, поджав хвост, бежит в свою конуру от обыкновенной курицы.

Мы зовем нашу черную наседку за необычайную ее родительскую заботу при защите детей, за ее клюв-пику на голове Пиковой Дамой. Каждую весну мы сажаем ее на яйца диких уток (охотничьих), и она высиживает и выхаживает нам утят вместо цыплят. В нынешнем году случилось, мы недосмотрели: выведенные утята преждевременно попали на холодную росу, подмочили пупки и погибли, кроме единственного.

Все наши заметили, что в нынешнем году Пиковая Дама была во сто раз злей, чем всегда.

Как это понять? Не думаю, что курица способна обидеться на то, что получились утята вместо цыплят. И раз уж села курица на яйца, недоглядев, ей приходится сидеть, и надо высидеть, и надо потом выхаживать птенцов, надо защищать от врагов, и надо все довести до конца, — так она и водит их и не позволяет себе их даже разглядывать с сомнением: «Да цыплята ли это?»

Нет, я думаю, этой весной Пиковая Дама была раздражена не обманом, а гибелью утят, и особенное беспокойство ее за жизнь единственного утенка понятно: везде родители беспокоятся о ребенке больше, когда он единственный...

Но бедный, бедный мой Грашка!

Это грач. С отломленным крылом он пришел ко мне на огород и стал привыкать к этой ужасной для птицы бескрылой жизни на земле и уже стал подбегать на мой зов «Грашка», как вдруг однажды в мое отсутствие Пиковая Дама заподозрила его в покушении на своего утенка и прогнала за пределы моего огорода, и он больше ко мне после того не пришел.

Что грач! Добродушная, уже пожилая теперь, моя легавая Лада часами выглядывает из дверей, выбирает местечко, где ей можно было бы безопасно от курицы до ветру сходить. А Трубач, умеющий бороться с волками! Никогда он не выйдет из конуры, не проверив острым глазом своим, свободен ли путь, нет ли вблизи где-нибудь страшной черной курицы.

Но что тут говорить о собаках — хорош и я сам! На днях вывел из дому погулять своего шестимесячного щенка Травку и только завернул за овин, гляжу — передо мною утенок стоит. Курицы возле не было, но я себе ее вообразил и, в ужасе, что она выклюнет прекраснейший глаз у Травки, бросился бежать, и как потом радовался — подумать только, я радовался! — что спасся от курицы!

Было вот тоже в прошлом году замечательное происшествие с этой сердитой курицей. В то время, когда у нас прохладными светлосумеречными ночами стали сено косить на лугах, я вздумал немного промять своего Трубача и дать погонять ему лисичку или зайца в лесу. В густом ельнике, на перекрестке двух зеленых дорожек, я дал волю Трубачу, и он сразу же ткнулся в куст, вытурил молодого русака и с ужасным ревом погнал его по зеленой дорожке. В это время зайцев нельзя убивать; я был без ружья и готовился на несколько часов отдаться наслаждению любезнейшей для охотника музыкой.

Но вдруг где-то около деревни собака скололась [1], гон прекратился, и очень скоро возвратился Трубач, очень

---

[1] Собака скололась (охотничье выражение) — потеряла след зверя.

смущенный, с опущенным хвостом, и на светлых пятнах его была кровь (мастью он желто-пегий в румянах).

Всякий знает, что волк не будет трогать собаку, когда можно всюду в поле подхватить овцу. А если не волк, то почему же Трубач в крови и в таком необычайном смущении?

Смешная мысль мне пришла в голову. Мне представилось, что из всех зайцев, столь робких всюду, нашелся единственный в мире настоящий и действительно храбрый, которому стыдно стало бежать от собаки.

«Лучше умру!» — подумал мой заяц. И, завернув себе прямо в пяту, бросился на Трубача. И когда огромный пес увидал, что заяц бежит на него, то в ужасе бросился назад и бежал не помня себя чащей и обдирал до крови спину. Так заяц и пригнал ко мне Трубача.

Возможно ли это?

Нет! С человеком так могло случиться, но у зайцев так не бывает.

По той самой зеленой дорожке, где бежал русак от Трубача, я спустился из леса на луг и тут увидел, что косцы, смеясь, оживленно беседовали и, завидев меня, стали звать скорее к себе, как все люди зовут, когда душа переполнена и хочется облегчить ее.

— Ну и дела!

— Да какие же такие дела?

— Ой-ой-ой!

И пошло, и пошло в двадцать голосов, одна и та же история, ничего не поймешь, и только вылетает из гомона колхозного:

— Ну и дела! Ну и дела!

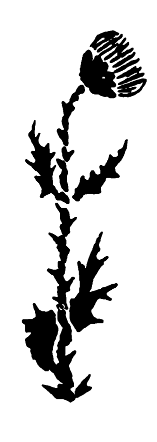


И вот какие это вышли дела. Молодой русак, вылетев из леса, покатил по дороге к овинам, и вслед за ним вылетел и помчался врастяжку Трубач. Случалось, на чистом месте Трубач у нас догонял и старого зайца, а молодого-то догнать ему было очень легко. Русаки любят от гончих укрываться возле деревень, в ометах соломы, в овинах. И Трубач настиг русака возле овина. Косцы видели, как на повороте к овину Трубач раскрыл уже и пасть свою, чтобы схватить зайчика...

Трубачу бы только хватить, но вдруг на него из овина вылетает большая черная курица — и прямо в глаза ему. И он повертывается назад и бежит. А Пиковая Дама ему на спину — и клюет и клюет его своей пикой.

Ну и дела!

И вот отчего у желто-пегого в румянах на светлых пятнах была кровь: гонца расклевала обыкновенная курица.



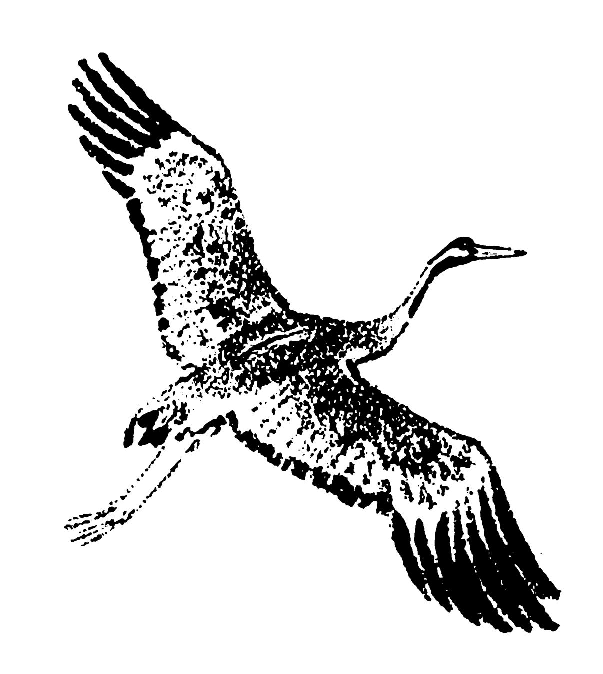




ЖУРКА









ЖУРКА

Раз было у нас — поймали мы молодого журавля и дали ему лягушку. Он ее проглотил. Дали другую — проглотил. Третью, четвертую, пятую, а больше тогда лягушек у нас под рукой не было.

— Умница! — сказала моя жена и спросила меня: — А сколько он может съесть их? Десять может?

— Десять, — говорю, — может.

— А ежели двадцать?

— Двадцать, — говорю, — едва ли...

Подрезали мы этому журавлю крылья, и стал он за женой всюду ходить. Она корову доить — и Журка с ней, она в огород — и Журке там надо, и тоже на полевые колхозные работы ходит с ней, и за водой. Привыкла к нему жена, как к своему собственному ребенку, и без него ей уж скучно, без него никуда. Но только ежели случится — нет его, крикнет только одно: «Фру-фру!», и он к ней бежит. Такой умница!

Так живет у нас журавль, а подрезанные крылья его всё растут и растут.

Раз пошла жена за водой вниз, к болоту, и Журка за ней. Лягушонок небольшой сидел у колодца и прыг от Журки в болото. Журка за ним, а вода глубокая, и с берега до лягушонка не дотянешься. Мах-мах крыльями Журка и вдруг полетел. Жена ахнула — и за ним. Мах-мах руками, а подняться не может. И в слезы, и к нам: «Ах, ах, горе какое! Ах, ах!» Мы все прибежали к колодцу. Видим — Журка далеко, на середине нашего болота сидит.

— Фру-фру! — кричу я.

И все ребята за мной тоже кричат:

— Фру-фру!

И такой умница! Как только услыхал он это наше «фру-фру», сейчас мах-мах крыльями и прилетел. Тут уж жена себя не помнит от радости, велит ребятам бежать скорее за лягушками. В этот год лягушек было множе-

ство, ребята скоро набрали два картуза. Принесли ребята лягушек, стали давать и считать. Дали пять — проглотил, дали десять — проглотил, двадцать и тридцать, — да так вот и проглотил за один раз сорок три лягушки.

МАТРЕШКА В КАРТОШКЕ

В прежнее время в нашей деревне пастуха никогда не нанимали; всё, бывало, дети пасут, а дед Михей на пригорке сидит, лапти плетет, детей пасет, чтобы не зевали, ворон не считали.

Бывает с дедом, забудется, лапти тачает, свои годы считает и не видит, что дети все полезли на дерево Москву смотреть. Очнется дед, глянет на детей — все на дереве. Глянет на овец — овцы все в овсы рассыпались. Кони во ржи, как в море, плавают, коровы на лугах, а свиньи все картошку рылом роют. Тут бывает плохо ребятишкам. Хорошо еще, успеют с дерева слезть и разбежаться.

Выдумали однажды наши пастухи вот какую игру. Есть славный цветок, ромашка, в нем солнышко, и к желтому солнышку во все стороны приставлены белые лучи. Вот если оторвать все лучики и оставить только один, это будет поп с одной косичкой, если два — с двумя косичками, три — с тремя, и так, сколько ребят играет, столько можно наделать попов с косичками, только один остав-

ляется без косичек, лысый. Потом каждый пастух вырывает себе на лугу ямку, сундучок, и непременно с крышкой из дёрна, сундучок к сундучку, — сколько детей, столько и сундучков. И когда наши пастухи всякий себе выкопали по сундучку, то выбрали старосту и отдали ему всех своих попов. Староста разложил попов в разные сундучки; конечно, никто не мог заметить, какой поп пришелся к какому сундучку, — это вот и надо теперь отгадать. А у каждого отгадчика заготовлен крючок; делается обыкновенно из суковатого прутика. И дальше игра эта так идет. Пусть, к примеру, мой поп с одной косичкой лежит во втором сундучке и это верно пришлось, то я свой крючок вешаю на первый сук дерева; не угадал — крючок остается при мне, пока не угадаю. Но если я и во второй раз угадаю, то перевешиваю свой крючок на второй сук, повыше, — значит, поближе к Москве. Так, если кто счастлив, из разу в раз перевешивает крючок все выше и выше, да так вот и едет в Москву, и за ним все едут, кто поскорей, кто потише.

В этот раз первым ехал Антошка Комар, а самой последней — девочка Рыбка. Но вдруг счастье переменилось. Рыбка забрала верх, а Комар остался в самом низу. Так ехали, ехали, и вот, наконец, Рыбка сверху кричит:

— Москва!

Дальше ехать некуда — на верхушке дерева больше и сучьев-то нет.

Между тем дед Михей вовсе заплелся, сидит себе на горушке и не видит, что дети по дереву едут в Москву, а самая большая, черная с белым поясом, свинья Матрешка пошла на его собственную полосу картошку

копать. Эта Матрешка — самая озорная свинья, и как только она ушла, то и все стадо за ней, а свиньи ушли, так и кони, и коровы, и овцы. Рыбка сверху первая заметила проказу Матрешки и крикнула:

— Слезай, ребята: Матрешка в картошке!

Сразу все бросились с дерева и пригнали Матрешку. Стали наказывать Матрешку, как обыкновенно: ставят свинью рылом к реке, и кто-нибудь из пастухов садится на нее верхом, сзади хлестнут прутиком, и свинья мчит всадника до речки. Вот затем и ставят Матрешку рылом к реке, чтобы ей дальше бежать было некуда, а то мало ли куда она может увезти седока! После, когда один прокатится, и другой так, все по очереди. Рыбке надо бы первой катиться — она же первая и в Москву приехала, и первая заметила Матрешку в картошке. Но ребята все прокатились, свинья и рот разинула, а Рыбка все ждала свою очередь.

Вовсе ребята свинью измучили, и такой дед чудак — ничего не замечает, весь в свои старые годы ушел. Но Рыбка от своего не отступается, садится верхом на свинью. В это время Антошка Комар, тот, кто первый ехал поначалу в Москву, а потом оказался самый последний, взял и устроил скверную штуку. Комар и был во всем виноват.

У свиней как бывает с хвостами: муха сядет — и то она сейчас же хвостик спрячет между окороками. А Комар взял да и надел Матрешке на хвостик берестяную трубочку и сам изо всей силы потянул за кончик. Матрешка со всех ног бросилась бежать и как почувствовала на хвосте трубочку, то и думала, что боль от нее,

и как только добежала до реки против самого глубокого омута, бух в омут, и вместе с Рыбкою.

И скрылась.

Бух! — в воду.

— Ах! — пастухи.

И только круги на тихой воде, да по кругам плавает берестяная трубочка.

Дед Михей лапти плетет, ничего не видит, ничего не слышит, весь в свои старые годы ушел.

Онемели ребята от страха, стоят и не шевельнутся, и только во все глаза смотрят на страшное место, где плавает берестяная трубочка. Вдруг из воды пузыри и целый фонтан, потом пятачок нарыльный свиной, уши, на ушах руки, спина и на спине Рыбка.

Взвизгнули от радости все пастухи.

Думали, вот как только свинья до берега доплывет, Рыбка непременно на сухом месте соскочит. Но вода Матрешке только силы подбавила: из воды она как выскочила — прямо в лес. Рыбка не успела соскочить и вместе с Матрешкой исчезла в лесу.

Наш лес, говорят, на сто верст раскинулся, но кто говорит — на сто, до ста и считать только может. Куда больше наш лес, и в лесу этом зверя всякого видимо-невидимо: волк, медведь, рысь, всякая всячина. В этот лес и увезла Матрешка маленькую Рыбку.

Скрылась девочка в темном лесу, и в это время дед Михей поднимает наконец от лаптей свою старую седую голову... Глянул дед да так и обмер: все деревенские свиньи на его же полосе картошку копают, на полдесятины овцы положили овес, кони от слепней в рожь



забрались — высокая рожь, только головы конские видны.

Старый бросился к пастухам, а те стоят себе кучкой и все в лес смотрят, за реку. Оторопел дед:

— Что же, ай вы стеклянные?

Дед Михей показал на коней во ржи, на свиней в картошке. Пастухи все посмотрели туда и не тронулись — стоят и молчат. Тут и дед заметил: Рыбки нет между ними. Спрашивает:

— Где Рыбка?

Все молчат, боятся сказать: Рыбка — дедова внучка.

Тут хорошую дед Михей выбрал прутовинку — и на Комара. И все Комар рассказал, одно утаил, как он берестяную трубочку Матрешке на хвостик надел и за кончик больно дернул.

Дед больше не стал допытываться, бежит скорее в деревню, сход собирает. Бросились враз мужики все спасать рожь, овес, картошку, а когда с этим покончили, скорей за реку, в лес, и там рассыпались в разные стороны. Так у них в поисках вся ночь прошла. Солнышко уже высоко было, когда дядя Митрофан вдруг загукал сбор. Увидел дядя Митрофан белую рубашку на кусту. Глянул под куст, — там голенькая Рыбка в мох закопалась и вот как сладко спит! И какая оказалась хозяйственная: мокрую рубашонку на куст повесила, и славно она у нее за ночь высохла. Собрались мужики, веселые пошли домой, горевали только, что волк свинью съел. Но и то хорошо обошлось: оказалось, Матрешка еще ночью к своей хозяйке Матрене из лесу прибежала. В тот день постановили на сходе, чтобы у нас, как и в других

деревнях, был настоящий пастух и детей этим трудным делом больше не мучить. Оставили детям одно только занятие — приглядывать за гусями. Но гуси весь день на реке, и за ними глядеть легко. Теперь наши дети без опаски ездят в Москву.

БОРЕЦ И ПЛАКСА

Почему-то вышло так в Московском зоопарке, что беременности медведицы Плаксы никто не заметил и оставили ее зимовать без всяких приготовлений для родов; даже соломки ей не подстелили. Проморгали граждане! Огромный бурый медведь Борец устроился жить в углублении стены, в нише, а самка его, Плакса, легла открыто напротив, у другой стены. Выбрав себе место повыше, хотя и под открытым небом, Плакса выгадала: зимой при первой же оттепели в нишу набежала вода, Борец там подплыл. Посреди медвежьей площадки росло большое дерево, обитое железом, чтобы медведи, когда им захочется почесаться, не портили кору. Борец теперь, при крайней своей беде, отодрал все железо, слупил кору и принялся ее таскать к себе в мокрую берлогу. Драл он с дерева, сколько лишь мог только надрать, забрался на самую верхушку; свалился оттуда на бетонный пол, ушибся, долго тер ушибленное место

лапой, сердился, ворчал и, наконец, отнес последний материал в берлогу и лег на корье.

Вот наступили и самые роды. Служащие зоопарка, никак не ожидавшие такого события, поспешили сверху свалить Плаксе огромную вязанку соломы. Конечно, она очень обрадовалась подстилке и скоро на ней отлично устроилась. А Борец тоже почему-то не остался равнодушным — медленно направился к гнезду. Наблюдатели очень встревожились, опасаясь, что Борец хочет отнять у Плаксы и задавить медвежат. Плакса, конечно, сразу же обратила внимание на поведение супруга и допустила его дойти только до середины площадки. Внезапно она встала, быстро подошла к нему и дала ему такую затрещину по морде, что огромный медведь свалился и закрыл побитую голову лапами. Тогда медведица вернулась к медвежатам, легла, но глаз своих ни на мгновение не сводила с побитого мужа. Отдохнув немного, Борец не встал, а пополз на брюхе: подвинется на полшага, взглянет на нее, прочтет в глазах запрещение и опять ляжет, а потом опять жуликом подастся на полшага вперед, дальше, да так вот и подобрался к самой берлоге. Так он обманул бдительность Плаксы покорностью, готовностью от одного только ее косого взгляда ткнуться рылом и закрыть себе морду лапами. Она до того успокоилась, что, наконец, решилась обернуться к малышам и, не глядя на разбойника, принялась их облизывать. Вот тут-то, выждав благоприятный момент, Борец молниеносно вскочил, сгреб передними лапами солому и, высоко держа над собой копну, на одних задних лапах быстро промчал ее к себе в берлогу, постелил поверх сырого, неприятно

колючего корья и успокоенно лег. Поди-ка, медведица, подойди теперь к нему! Куда тут!

Ободранное дерево и теперь стоит. Плакса на том же месте, где родила, теперь играет с молодым медведем. Очень часто кто-нибудь из публики спрашивает, зачем это медведям понадобилось ободрать это дерево. Тогда, бывает, кто-нибудь станет рассказывать о семейных повадках медведей и после рассказа выведет:

— Нечего сказать, отцы! Вот так отцы!

ГОВОРЯЩИЙ ГРАЧ

Расскажу случай, какой был со мной в голодном году. Повадился ко мне на подоконник летать желторотый молодой грачонок. Видно, сирота был. А у меня в то время хранился целый мешок гречневой крупы, — я и питался все время гречневой кашей. Вот, бывало, прилетит грачонок, я посыплю ему крупы и спрашиваю:

— Кашки хочешь, дурашка?

Поклюет и улетит. И так каждый день, весь месяц. Хочу я добиться, чтобы на вопрос мой: «Кашки хочешь, дурашка?» — он сказал бы: «Хочу».

А он только желтый нос откроет и красный язык показывает.


EP

— Ну ладно, — рассердился я и забросил ученье.

К осени случилась со мной беда: полез я за крупой в сундук, а там нет ничего. Вот как воры обчистили, — половина огурца была на тарелке, и ту унесли! Лег я спать голодный. Всю ночь вертелся. Утром в зеркало посмотрел — лицо все зеленое стало.

Стук, стук! — кто-то в окошко.

На подоконнике грач долбит в стекло.

«Вот и мясо!» — явилась у меня мысль.

Открываю окно — и хвать его! А он — прыг от меня на дерево. Я — в окно за ним, к сучку. Он повыше. Я лезу. Он выше — и на самую макушку. Я туда не могу — очень качается. Он же, шельмец, смотрит на меня сверху и говорит:

— Хо-чешь каш-ки, ду-ра-шка?



ХРОМКА

Плыву на лодочке, а за мной по воде плывет Хромка — моя подсадная охотничья уточка. Эта уточка вышла из диких уток, а теперь она служит мне, человеку, и своим утиным криком подманивает в мой охотничий шалаш диких селезней.

Куда я ни поплыву, всюду за мной плывет Хромка. Займется чем-нибудь в заводи, скроюсь я за поворотом от нее, крикну: «Хромка!» — и она бросит все и подлетает опять к моей лодочке. И опять: куда я, туда и она.

Горе нам было с этой Хромкой! Когда вывелись утята, мы первое время держали их в кухне. Это пронюхала крыса, прогрызла дырку в углу и ворвалась. На утиный крик мы прибежали как раз в то время, когда крыса тащила утенка за лапку в свою дырку. Утенок застрял, крыса убежала, дырку забили, но только лапка у нашего утенка осталась сломанная.

Много трудов положили мы, чтобы вылечить лапку: связывали, бинтовали, примачивали, присыпали — ничего не помогло: утенок остался хромым навсегда.

Горе хромому в мире всяких зверюшек и птиц: у них что-то вроде закона — больных не лечить, слабого не жалеть, а убивать. Свои же утки, свои же куры, индюшки, гуси — все норовят тюкнуть Хромку. Особенно страшны были гуси. И что ему, кажется, великану, такая безделушка — утенок, — нет, и гусь с высоты своей норовит обрушиться на каплюшку и сплюснуть, как паровой молот.

Какой умишко может быть у маленького хромого утенка? Но все-таки и он своей головенкой, величиной с лесной орех, сообразил, что единственное спасение его в человеке.

И нам по-человечески было жалко его: эти беспощадные птицы всех пород хотят лишить его жизни, а чем он виноват, если крыса вывернула ему лапку?

И мы по-человечески полюбили маленькую Хромку.

Мы взяли ее под защиту, и она стала ходить за нами, и только за нами. И, когда выросла она большая, нам не нужно было ей, как другим уткам, подстригать крылья. Другие утки — дикари — считали дикую природу своей

родиной и всегда стремились туда улететь. Хромке некуда было улетать от нас. Дом человека стал ее домом. Так Хромка в люди вышла.

Вот почему теперь, когда я плыву на лодочке своей на утиную охоту, моя уточка сама плывет за мной. Отстанет, снимется с воды и подлетает. Займется рыбкой в заводи, заверну я за кусты, скроюсь и только крикну: «Хромка!», вижу — летит моя птица ко мне.





ЯРИК





ЯРИК

На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было иван-да-марьи — цветов наполовину синих, наполовину желтых. Во множестве тут были тоже и белые ромашки, звонцы, синие колокольчики, лиловое

кукушкино платье — каких-каких цветов не было! Но от красных елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней можно было еще найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой; сюда же, в сухое место, собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки, собаку мою Ярика они очень мучили. Пришлось развести грудок, как у нас называют костер. Дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.

Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дождаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы.

Так мы вышли на красную вырубку, и, сказав: «Ищи, друг!», я пустил своего Ярика.

Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи!»

— Ну, ищи же, гражданин! — повторил я своему другу.

И он пустился кругами по красной вырубке.

Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса очень серьезно посмотрел на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.

Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик; но одного его пустить туда я бы не решился. Один он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло хвостом, взглянул на меня. Я понял — он говорил:

— Они тут ночевали, а кормились на поляне.

— Как же быть? — спросил я.

Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями. Оставалось сделать новый круг. Но Ярик и полкруга не сделал — остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревов пахну́л ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог во все удовольствие любоваться сво́им великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шепотом сказал:

— Иди, если можно!

Он выпрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять:

— Они тут были во время дождя.

И уже по самому свежему следу повел, касаясь своими длинными волосами на хвосте самой земли.

Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперед, — я это понял по Ярику; он мне по-своему доложил:

— Идут впереди нас, и очень близко.

Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю, мертвую стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахать, выпуская свой длинный розовый язык; теперь же челюсти были крепко стиснуты, и только маленький кончик языка, не успевший вовремя убраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаться, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убрать язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.

Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: он стоял с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.

Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.

Мы довольно долго так стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон. Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки. Она квохнула и этим сказала детям:

— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.

И со страшным треском вылетела.

Если бы она полетела на меня, то Ярик не тронулся бы, и если бы даже просто пролетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту и какое это страшное преступление — бежать за вылетевшей птицей.

Но большая серая, почти с курицу, птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самому Ярикову носу и над самой землей тихонечко полетела, маня его криком:

— Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.

Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся...

Фокус удался. Она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям: «Летите, летите все в разные стороны!», сама вдруг взмыла над лесом и была такова. Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и, наверно, слышалось издали Ярику:

— Дурак! Дурак!

— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и, виноватый, медленно стал подходить. Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лег.

— Ну, иди же, иди!

Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно, — говорю я, усаживаясь в куст, — лезь за мной, смирно сиди, не хахай. Мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:

— Фиу, фиу!

Значит: «Где ты, мама?»

— Квох, квох! — отвечает она.

И это значит: «Иду!»

Тогда с разных сторон засвистело, как я:

— Где ты, мама?

— Иду, иду! — всем отвечает она.

Один цыпленок свистит очень близко от меня. Я ему отвечаю. Он бежит, и вот я вижу — у меня возле самой коленки шевелится трава.

Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя цыпленка.

— Ну, понюхай, — тихонько говорю Ярику.

Он отвертывает нос: боится хамкнуть.

— Нет, брат, нет, — жалким голосом прошу я, — понюхай-ка.

Нюхает, а сам — как паровоз.

Самое сильное наказание.

Вот теперь я уже смело свищу и знаю — непременно прибежит ко мне матка, всех соберет, одного не хватит, и прибежит за последним.

Их всех, кроме моего, семь. Слышу, как один за другим, отыскав матку, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:

— Где ты, мама?

— Иди к нам! — отвечает она.

— Фиу, фиу! («Нет, ты веди всех ко мне».)

Идет, бежит. Вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высовывается ее шея, а за ней шевелит траву и весь ее выводок. Все они сидят от меня в двух шагах. Теперь я говорю Ярику глазами:

— Ну, не будь дураком!

И пускаю своего тетеревенка. Он хлопает крыльями о куст, и все хлопают, все вздымаются. А мы из кустов с Яриком смотрим вслед улетающим и смеемся:

— Вот как мы вас одурачили, граждане!

ПРЕДАТЕЛЬСКАЯ КОЛБАСА

Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так, в игре, он провел неделю, а потом я переехал с ним из города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал его, всю ночь не спал, каждый час выходил на терраску и свистал. Утром, только собрался было идти в город, в милицию, являются мои дети с Яриком: он, оказывается, был в гостях у Рябчика. Я ничего не имею против дружбы собак, но нельзя же допускать, чтобы Ярик без разрешения оставлял службу у меня!

— Так не годится, — сказал я строгим голосом.— Это, брат, не служба. А кроме того, ты ушел без намордника — значит, каждый встречный имеет право тебя застрелить. Безобразный ты пес!

Я все высказал суровым голосом, и он выслушал меня, лежа на траве, виноватый, смущенный, не Ярик —

золотистый гордый ирландец, а какая-то рыжая, ничтожная, сплющенная черепаха.

— Не будешь больше ходить к Рябчику? — спросил я более добрым голосом.

Он прыгнул ко мне на грудь. Это у него значило:

— Никогда не буду, добрый хозяин.

— Перестань лапиться! — сказал я строго.

И простил. Он покатался в траве, встряхнулся и стал обыкновенным, хорошим Яриком.

Мы жили в дружбе недолго, всего только неделю, а потом он снова куда-то исчез. Вскоре дети, зная, как я тревожусь о нем, привели беглеца: он опять сделал Рябчику незаконный визит. В этот раз я не стал с ним разговаривать и отправил в темный подвал, а детей просил, чтобы в следующий раз они только известили меня, но не приводили и не давали там ему пищи. Мне хотелось сделать, чтобы он вернулся по доброй воле.

В темном подвале путешественник пробыл у меня сутки. Потом, как обыкновенно, я серьезно поговорил с ним и простил. Наказание подвалом подействовало только на две недели. Дети прибежали ко мне из города:

— Ярик у нас!

— Так ничего же ему не давайте, — велел я. — Пусть проголодается и придет сам, а я подготовлю ему хорошую встречу.

Прошел день. Наступила ночь. Я зажег лампу, сел на диван, стал читать книгу. Налетело на огонь множество бабочек, жуков, все это стало кружиться возле лампы, валиться на книгу, на шею, путаться и жужжать в воло-

сах. Но закрыть дверь на террасу было нельзя, потому что это был единственный вход, через который мог явиться ожидаемый Ярик. Я, впрочем, не обращал внимания на бабочек и жуков: книга была увлекательной, и шелковый ветерок, долетая из леса, приятно шумел. Я и читал и слушал музыку леса.

Вдруг мне что-то показалось в уголку глаза. Я быстро поднял голову, и это исчезло. Теперь я стал прилаживаться так читать, чтобы, не поднимая головы, можно было наблюдать порог. Вскоре там показалось нечто рыжее, стало красться в обход стола, и я думаю, мышь слышней пробежала бы, чем это большое подползало под диван. Только знакомое неровное дыхание подсказало мне, что Ярик был под диваном и лежал как раз подо мной. Некоторое время я читаю и жду, но терпения у меня хватило ненадолго. Встаю, выхожу на террасу и начинаю звать Ярика строгим голосом и ласковым, громко и тихо, свистать и даже трубить. Так уверил я лежащего под диваном, что ничего не знаю о его возвращении. Потом я закрыл дверь от бабочек и говорю вслух:

— Верно, Ярик уже не придет. Пора ужинать.

Слово «ужинать» Ярик знает отлично. Но мне показалось, что после моих слов под диваном прекратилось даже дыхание.

В моем охотничьем столе лежит запас копченой колбасы, которая чем больше сохнет, тем становится вкуснее. Я очень люблю сухую охотничью колбасу и всегда ем ее вместе с Яриком. Бывало, мне довольно только ящиком шевельнуть, чтобы Ярик, спящий колечком, раз-

вернулся, как стальная пружина, и подбежал к столу, сверкая огненным взглядом.

Я выдвинул ящик — из-под дивана ни звука. Раздвигаю колени, смотрю вниз — нет ли там на полу рыжего носа. Нет, носа не видно. Режу кусочек, громко жую, заглядываю — нет, хвост не молотит. Начинаю опасаться, не показалась ли мне рыжая тень от сильного ожидания и Ярика вовсе и нет под диваном. Трудно думать, чтобы он, виноватый, не соблазнился даже колбасой — ведь он так любит ее. Если я, бывало, возьму кусочек, надрежу, задеру шкурку, чтобы можно было за кончик ее держаться пальцами и кусочок ее висел бы, как на нитке, то Ярик задерет нос вверх, стережет долго и вдруг прыгнет. Но мало того: если я успею во время прыжка отдернуть вверх руку с колбасой, то Ярик так и остается на задних ногах, как человек. Я иду с колбасой, а Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки, и так мы обходим комнату и раз, и два, и даже больше. Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться так под руку с рыжим хвостатым товарищем.

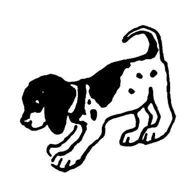
И так вот, зная, как Ярик любит колбасу, я не могу допустить, чтобы он был под диваном. Делаю последний опыт, бросаю вниз не кусочек, а только шкурку и наблюдаю. Но как внимательно я ни смотрю, ничего не могу заметить: шкурка исчезла как будто сама по себе. В другой раз я все-таки добился: видел, как мелькнул язычок.

Ярик тут, под диваном.

Теперь я отрезаю от колбасы круглый конец с носиком, привязываю нитку за носик и тихонечко спускаю вниз между коленками. Язык показался. Я потянул за нитку — язык скрылся. Переждав немного, спускаю опять — теперь показался нос, потом лапы.

Больше нечего в прятки играть: я вижу его и он меня видит. Поднимаю выше кусочек, Ярик поднимается на задние лапы.

— Пожалуйте, молодой человек!



ПЕРВАЯ СТОЙКА

Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Васильевичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувыркается.

Сегодня был такой случай. Поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаз и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич! — сказал я. — Кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня, — сказал я, — не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевел глаза. Ему, наверно, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кирпич вдруг ожил и покатился. Но спуститься было очень опасно: что, если кирпич его схватит и утянет вниз, в темный подвал?

— Что же делать-то? — спросил я. — Разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял — он хотел мне сказать:

— Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик? [1]

Нет, и это оказывается невозможным. И так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом чуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось страшней — по собачьим чувствам выходит так: чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.

— Перестою, — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а живому песику трудно — устал и дрожит.

---

[1] Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали, — говорю, — лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали — нет, не вылезает кирпич. Тихонечко подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве еще раз брехнуть?

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку, стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери, а сам глядел вниз много смелее. Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совершенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:

— Мне кажется, Рома, здесь все благополучно.

После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подниматься; он нагнал мать и принялся теребить ее за ухо.

УЖАСНАЯ ВСТРЕЧА

Это известно всем охотникам, как трудно выучить собаку не гоняться за зверями, кошками и зайцами, разыскивать только птицу.

Однажды во время моего урока Ромке мы вышли на полянку. На ту же полянку вышел тигровый кот. Ромка был с левой руки от меня, а кот — с правой, и так произошла эта ужасная встреча. В одно мгновенье кот обернулся, пустился наутек, а за ним ринулся Ромка. Я не успел ни свистнуть, ни крикнуть «тубо» [1].

Вокруг на большом пространстве не было ни одного дерева, на которое кот мог бы взобраться и спастись от собаки, — кусты и полянки без конца. Я иду медленно, как черепаха, разбирая следы Ромкиных лап на влажной земле, на грязи, по краям луж и на песке ручьев. Много перешел я полянок, мокрых и сухих, перебрел два ручейка, два болотца, и наконец вдруг все открылось: Ромка стоит на поляне неподвижный, с налитыми кровью глазами; против него, очень близко, — тигровый кот; спина горбатым деревенским пирогом, хвост медленно поднимается и опускается. Нетрудно мне было догадаться, о чем они думали.

Тигровый кот говорит:

---

[1] Тубó — значит «нельзя».

— Ты, конечно, можешь на меня броситься, но помни, собака, за меня тигры стоят! Попробуй-ка, сунься, пес, и я дам тебе тигра в глаза.

Ромку же я понимал так:

— Знаю, мышатница, что ты дашь мне тигра в глаза, а все-таки я тебя разорву пополам! Вот только позволь мне еще немного подумать, как лучше бы взять тебя.

Думал и я:

«Ежели мне к ним подойти, кот пустится наутек, за ним пустится и Ромка. Если попробовать Ромку позвать...»

Долго раздумывать, однако, было мне некогда. Я решил начать усмирение зверей с разговора по-хорошему. Самым нежным голосом, как дома в комнате во время нашей игры, я назвал Ромку по имени и отчеству:

— Роман Василич!

Он покосился. Кот завыл.

Тогда я крикнул тверже:

— Роман, не дури!

Ромка оробел и сильнее покосился. Кот сильнее провыл.

Я воспользовался моментом, когда Ромка покосился, успел поднять руку над своей головой и так сделать, будто рублю головы и ему и коту. Увидев это, Ромка подался назад, а кот, полагая, будто Ромка струсил, и втайне, конечно, радуясь этому, провыл с переливом обыкновенную котовую победную песню. Это задело самолюбие Ромки. Он, пятясь задом, вдруг остановился и посмотрел на меня, спрашивая:

— Не дать ли ему?

Тогда я еще раз рукой в воздухе отрубил ему голову и во все горло выкрикнул бесповоротное свое решение:

— Тубо!

Он подался еще к кустам, обходом явился ко мне. Так я сломил дикую волю собаки.

А кот убежал.

ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ

Собака, все равно как и лисица и кошка, подбирается к добыче. И вдруг замрет. Это у охотников называется стойкой.

Собака только стоит и указывает, а человек при взлете стреляет. Если же собака при взлете бежит, это не охота. За одной побежит — другую спугнет, третью, да еще и с лаем пустится по болоту турить — охотнику так ничего и не достанется.

Учил я Ромку, чтобы не гонять, и не мог научить.

— Некультурен! — сказал мне однажды егерь[1] Кирсан.

— Как же быть с некультурностью? — спросил я.

Кирсан очень странно ответил:

---

[1] Егерь — это немецкое слово, значит «охотник».

— Некультурность у собак надо ежом изгонять.

Нашли мы ежа. Я пустил Ромку в тетеревиные места, и скоро он стал по тетерке. Я позади Ромки стал, а Кирсан с ежом сбоку. Приказываю:

— Вперед!

Ромка с лапки на лапку: раз, два, три...

Ту-ту-ту! — вылетела.

— Назад! — кричу Ромке.

Ничего не помнит, ничего не слышит. Бросился. И тут-то Кирсан на прыжке сбоку прямо в нос ему ежа. Ромка опомнился, взвизгнул — и на ежа. А ёж ему своими колючками еще здорово поддал. И мы на Ромку и приговариваем:

— Помни ежа, помни ежа!

С тех пор, когда птица взлетает, я говорю негромко:

— Ромка, помни ежа!

Он и опомнится.

Однажды я спросил Кирсана:

— Как это вы, Кирсан Николаевич, пришли к такой догадке, чтобы некультурность ежом изгонять?

— С себя самого перевел, Михайло Михайлович, — ответил Кирсан. — В детстве соседям окна бил из рогатки. Раз поймали меня и говорят: «Этого мальчишку надо взять в ежовые рукавицы!» И взяли. А потом это с себя я на собак перевел с большой пользой.

ЁЖ

Этот теплый дождь с грозой расшевелил и ёжика, спавшего всю зиму в кусту, под толстым слоем листвы. Ёж стал развертываться, а листва над ним — подниматься. Я раз это видел своими глазами, и мне даже немножко страшно стало: сама ведь поднимается листва.

Вот он развернулся и мохнатенькую мордочку с черным собачьим носиком высунул. Только высунул, вдруг ветер шевельнул старыми дубовыми листьями, и вышло из этого шума явственно:

— Ё-ш-ш-ш! (Ёж.)

Как тут не испугаться! В одно мгновение ёж свернулся клубочком и сколько-то времени пролежал так, будто нет его, серого, в серой листве. Когда же времени прошло довольно, ёж опять стал развертываться, но опять только поднялся на ноги и маленькой спинкой, густо уснащенной колючками, тронулся, вдруг из тех же дубовых сухих листьев шепнуло:

— Ёж! Куда ты идешь?

И так было несколько раз, пока ёж привык и пошел. Все происходило в большой близости от нашего домика на колесах, и не мудрено, что ёж попал под машину, где

на старой ватной кофте крепко спал наш Сват. Ёжику эта кофта очень понравилась: совсем сухо, тепло, и вот тут даже есть дырочка, куда можно залезть. Но только он стал туда залезать, вдруг Сват почуял ежа.

— Ёж, куда ты идешь?

И началось, и началось! А ёж, поддав колючками в нос Свату, залез в дырочку и скоро так глубоко продвинулся в рукаве, что дальше идти было некуда: рукав в конце был очень узок.

— Ёж! Куда ты идешь? — ревел Сват.

А ежу — ни вперед, ни назад: впереди узко, назади Сват.

Разобрав, в чем дело, мы ватную кофту перенесли в наш дом, рассчитывая, что следующей ночью ёж уложит гладко свои колючки и как-нибудь выпятится. Может быть, кофта ему понравится и станет ежовым гнездом.

Устроив своего нового жильца, мы тут же спели ему плясовую народную песенку:

Ёж, ёж, куда ты идешь?

А он отвечает:

К вам, девушки, гулять,
Себе жену выбирать!

СВАТ

Подарили мне небольшую собачку редкостной породы спаниель, величиной с два больших кота, а уши до самой земли. Когда ест — уши мокнут, когда нюхает землю — передними лапами наступает на свои уши.

«Ухан» следовало бы назвать его по-русски, но у него кличка была английская — Джимми. Не нравилась мне чужая кличка, такая незвучная: изволь орать «Джимми», когда дрессируемый щенок помчится за котом или зайцем. Мы сначала превратили Джимми в арабского Джина, а когда этот Джин засел верхом на утку нашу и начал ее жать, то мы все разом закричали на него не Джин, а Жим, в смысле «не жми».

И так оно и пошло бы, наверное, Жим, но случилось однажды, наш спаниель засел верхом на Хромку, нашу охотничью ручную уточку, без того уже убогую, хроменькую.

— Жим, перестань! Жим, не жми! — закричали мы ему.

Но он не слушал и продолжал давить Хромку. В это время за калиткой на улице прохожий звучно крикнул кому-то:

— Сват!

И, услыхав этого «свата», Жим почему-то бросил утку.



— Вот кличка-то! — сказал я. — И звучная и милая. Давайте попробуем Жима звать Сватом.

В это время по улице люди из деревни шли на базар. Не успел я это сказать своим, как послышался за калиткой отчетливый разговор каких-то прохожих.

— Да он мне, милый, не сват, не брат, — сказал один.

А другой ему сочувственно:

— И не сват и не кум.

И пошло, как под музыку:

Не тесть, и не зять,
И не шурин, не свояк.

После некоторого молчания и уже издали, чуть слышно:

— Никакая не родня, а просто седьмая вода на киселе.

На другой день случилось: Жим разогнал нашего кота и сам ударился за ним через подворотню на улицу. Я выбежал в калитку и во все горло закричал:

— Сват!

Тут соседи мои и мальчишки-голубятники удивились, кого это я зову сватом.

А кот в это время, сделав круг и не успев вскочить где-нибудь на дерево, бежал обратно, и за ним, чуть ли не на хвосте кошачьем, мчался Сват. Тогда по лицу моему, по всему удовлетворенному виду соседи и все, кто был на улице, поняли, кто был моим сватом. И сколько тут было смеху, сколько звонкой радости! Старый и малый — все орали вслед бегущему коту и собачке: кто орал

«Сват», кто — «Кум», кто — «Тесть», кто — «Зять», кто «Шурин», кто — «Деверь», кто — «Свояк».

Кот же, конечно, нырнул в подворотню и, чувствуя у самого хвоста своего морду Свата, махнул вверх на машину. А Сват, конечно, за ним тоже на машину. Васька, прижатый к окну шофера, вглядывается холодным, расчетливым глазом и медленно заносит назад правую лапу — точно так же, как бойцы заносят назад руку с гранатой, чтобы с силой бросить вперед. И когда нос Свата был возле кота, граната ударила по носу и с шипом разорвалась, а я, сочувствуя коту, сказал:

— Я тебе не сват, не брат.

И столько раз надавал кот лапой Свату, что я успел принести фотоаппарат, снять их и докончить им присказку:

Не сват, не брат,
Не тесть, не кум,
Не зять, не свояк,
И не шурин, и никакая не родня,
Седьмая вода на киселе!

ОТРАЖЕНИЕ

Мы идем с Ладой — моей охотничьей собакой — вдоль небольшого озерка. Вода сегодня такая тихая, что летящий кулик и его отражение в воде были совершенно одинаковы: казалось, летели нам

навстречу два кулика. Весной в первую прогулку Ладе разрешается гоняться за птичками. Она заметила двух летящих куликов — летели прямо на нее, скрытую от них кустиком. Лада наметилась.

Какого она выберет себе: настоящего, летящего над водой, или его отражение в воде — оба ведь схожи между собой как две капли воды. Вот бедная Лада выбирает себе отражение и, наверное, думая, что сейчас поймает живого кулика, с высокого берега делает скачок и бухается в воду. А верхний, настоящий кулик улетает.



ЛАДА

Три года тому назад был я в Завидове, в хозяйстве Военно-охотничьего общества. Егерь Николай Камолов предложил мне посмотреть у своего племянника в лесной сторожке его годовалую сучку, пойнтера Ладу.

Как раз в то время собачку себе я приискивал. Пошли мы наутро к племяннику. Осмотрел я Ладу: чуть-чуть она была мелковата, чуть-чуть нос для сучки был короток, а прут толстоват. Рубашка у нее вышла в мать, желтопегого пойнтера, а чутье[1] и глаза — в отца, черного пойн-

[1] Чутье — так называют охотники нос у собаки.

тера. И так это было занятно смотреть: вся собака в общем светлая, даже просто белая с бледно-желтыми пятнами, а три точки на голове — глаза и чутье — как угольки. Головка, в общем, была очаровательная, веселая. Я взял хорошенькую собачку себе на колени, дунул ей в нос — она сморщилась, вроде как бы улыбнулась; я еще раз дунул — она сделала попытку меня за нос схватить.

— Осторожней! — предупредил меня старый егерь Камолов.

И рассказал мне, что у его свата случай был: тоже вот так дунул на собаку, а она его за нос, и так человек на всю жизнь остался без носа.

Хозяин Лады очень обрадовался, что собака нам понравилась: он не понимал охоты и рад был продать ненужную собаку.

— Какие умные глаза! — обратил мое внимание Камолов.

— Умница! — подтвердил племянник. — Ты, дядя Николай, главное, хлещи ее, хвощи как ни можно сильней, она все поймет.

Мы посмеялись с егерем этому совету, взяли Ладу и отправились в лес пробовать ее поиск, чутье. Конечно, мы действовали исключительно лаской, давали по кусочку сала за хорошую работу, за плохую — самое большее пальцем грозили. В один день умная собака поняла всю нашу премудрость, а чутье, наверно, ей досталось от деда, Камбиза: чутье небывалое!

Весело было возвращаться на хутор: не так-то легко ведь найти собаку такую прекрасную.

— Не Ладой бы ее звать, а Находкой: настоящая находка! — повторял Камолов.

И так мы, оба очень радостные, приходим в сторожку.

— А где же Лада? — спросил нас удивленно хозяин.

Глянули мы — и видим: действительно, с нами нет Лады. Все время шла с нами, а как вот к дому подошла, словно провалилась сквозь землю. Звали, манили, ласково и грозно: нет и нет. Так вот и ушли с одним горем. А хозяину тоже не сладко. Так нехорошо вышло. Хотели хоть что-нибудь хозяину дать — нет, не берет.

— Только собрались Находкой назвать, — сказал Камолов.

— Не иначе, как леший увел! — посмеялся на прощанье племянник.

И только мы без хозяина прошли шагов двести по лесу, вдруг из кустика выходит Лада. Какая радость! Мы, конечно, назад, к хозяину. И только повернули, вдруг опять Лады нет, опять — как сквозь землю. Но в этот раз мы больше ее не искали; мы, конечно, поняли: хозяин колотил ее, а мы ласкали и охотились, вот она и пряталась, вот и все... И как только мы повернули домой, Лада, конечно, из куста явилась. По пути домой мы много смеялись, вспоминая слова хозяина: «Хлещи, дядя Николай, хвощи как ни можно сильней, она все поймет!»

И поняла!

ГЛОТОК МОЛОКА

Лада заболела. Чашка с молоком стояла возле ее носа, она отвертывалась. Позвали меня.

— Лада, — сказал я, — надо поесть.

Она подняла голову и забила прутом. Я погладил ее. От ласки жизнь заиграла в ее глазах.

— Кушай, Лада, — повторил я и подвинул блюдце поближе.

Она протянула нос к молоку и залакала.

Значит, через мою ласку ей силы прибавилось. Может быть, именно эти несколько глотков молока спасли ее жизнь.

КАК Я НАУЧИЛ СВОИХ СОБАК ГОРОХ ЕСТЬ

Лада, старый пойнтер десяти лет, — белая с желтыми пятнами. Травка — рыжая, лохматая, ирландский сеттер, и ей всего только десять месяцев. Лада — спокойная и умная. Травка — бешеная и не сразу меня понимает. Если я, выйдя из дому, крикну: «Травка!», она на одно мгновенье обалдеет. И в это

время Лада успевает повернуть к ней голову и только не скажет словами: «Глупенькая, разве ты не слышишь? Хозяин зовет!»

Сегодня я вышел из дому и крикнул:

— Лада, Травка, горох поспел, идемте скорей горох есть!

Лада уже лет восемь знает это и теперь даже любит горох; горох ли, малина, клубника, черника, даже редиска, даже репа и огурец, только не лук. Я, бывало, ем, а она, умница, вдумывается — глядишь, и себе начинает рвать стручок за стручком. Полный рот, бывало, наберет гороху и жует, а горох с обеих сторон изо рта сыплется, как из веялки. Потом выплюнет шелуху, а самый горох с земли языком соберет весь до зернышка.

Вот и теперь я беру толстый зеленый стручок и предлагаю его Травке. Ладе, старухе, уж конечно, это не очень нравится, что я предпочитаю ей молодую Травку. Лохмушка берет в рот стручок и выплевывает. Второй даю — и второй выплевывает. Третий стручок даю Ладе. Берет. После Лады опять Травке даю. Берет. И так пошло скоро: один стручок Ладе, другой — Травке. Дал по десять стручков.

— Жуйте, работайте!

И пошли жернова молоть горох, как на мельнице. Так и хлещет горох в разные стороны у той и другой. Наконец Лада выплюнула шелуху, и вслед за ней Травка тоже выплюнула. Лада стала языком зерна собирать. Травка попробовала и вдруг поняла: и стала есть горох с таким же удовольствием, как и Лада. Она стала есть потом и малину, и клубнику, и огурцы. И всему этому я научил

Травку из-за большой любви ко мне Лады: Лада ревнует ко мне Травку и ест, Травка Ладу ревнует и ест. Мне кажется, если я устрою между ними соревнование, то они, пожалуй, скоро у меня и лук будут есть.

ПЕТИН БАШМАК

Был с нами в это путешествие такой случай. Сват, молодой спаниель, играя, унес у Пети башмак в чащу и закопал. Сколько мы ни искали, найти не могли. Пустились на хитрости — дали ему другой башмак в чаянии, что он принесет его к первому и закопает на том же месте, а мы подглядим. Он не отказался, схватил другой башмак, скрылся в чаще, а пока мы разыскивали, успел второй башмак закопать.

В напрасных поисках, с досадой я сказал Пете, придумавшему эту хитрость:

— Никакой пользы, Петя, хитрость твоя не принесла: мы лишились второго башмака.

— Но и вреда никакого, — ответил Петя.— Все равно в одном башмаке далеко не уйдешь.

На эти слова я стал горячо возражать: незадолго перед тем в поисках зимовалой клюквы у нас нашелся довольно-таки свежий лапоть.

— Вот если бы, — говорил я, — у нас был бы теперь и башмак, то можно было бы — одна нога в башмаке, другая в лапте — ходить отлично по болоту за ягодами.

КАК РОМКА ПЕРЕХОДИЛ РУЧЕЙ

Мы собрались переходить ручей и пустили Ромку вперед. Он подошел к струящейся воде и вдруг отпрыгнул назад. Потом крайне осторожно подошел опять и, когда убедился, что вода течет, струится значит, вода *живая*, — снова отпрыгнул, раз, и два, и пошел потрясать воздух своим басом.

— Ромка, Ромка! — убеждали мы. — Не будь дураком, иди, иди.

Он послушался, подкрался. Ручей струился по камушкам только посредине, а по сторонам застойная вода его была подернута слоем зеленоватой тины. Ветер подогнал края этой тины к берегу и развесил на прутиках, как большую зеленую тряпку.

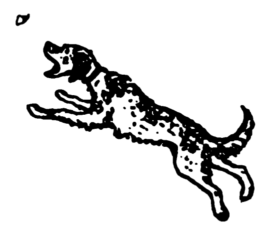
Вот Рома, подумав, что все дело в этой тряпке, схватил за край тины и потянул. Он рвал траву и, не успевая проглатывать, выбрасывал, и зеленая тина мокрыми усами свисала из его пасти.

Но вот обнажился в воде какой-то черный ком, и тут Ромка, решив, что не в тряпке дело, а что ком во всем виноват, схватился зубами за ком и потащил. Но ком был только началом затопленной коряги, и когда она большая, черная из воды показалась, Ромка бросил ком и со всего маху в страшном испуге шарахнулся назад на берег и там уже так забрехал, так забрехал!

И даже когда я на глазах его перешел ручей, он не сразу пошел за мной: он увидел меня на том берегу,

завизжал сначала, потом набрался храбрости и скакнул таким быстрым гигантским скачком, что живая вода не успела схватить его за ногу.

После того мы перешли в жидкое топкое болото, и Ромка тут работал безукоризненно. Правда, он ходил по воде несколько бурно, но как только причуивал след, начинал тихо подкрадываться, и бекасы иногда его подпускали совсем близко.



ОХОТА ЗА БАБОЧКОЙ

Жулька, моя молодая мраморно-голубая охотничья собака, носится как угорелая за птичками, за бабочками, даже за крупными мухами до тех пор, пока горячее дыханье не выбросит из ее пасти язык. Но и это не останавливает ее.

Вот нынче была у всех на виду такая история.

Желтая бабочка-капустница привлекла внимание. Жизель бросилась за ней, подпрыгнула и промахнулась. Бабочка замотыляла дальше. Жулька за ней — хап! Бабочке хоть бы что: летит, мотыляет, как будто смеется.

Хап! — мимо. Хап, хап! — мимо и мимо.

Хап, хап, хап — и бабочки в воздухе нет.

Где наша бабочка? Среди детей началось волненье. «Ах, ах!» — только и слышалось.

Бабочки нет в воздухе, капустница исчезла. Сама

Жизель стоит неподвижная, как восковая, повертывая удивленно голову то вверх, то вниз, то вбок.

— Где наша бабочка?

В это время горячие пары стали нажимать внутри Жулькиной пасти, — у собак ведь нет потовых желез. Пасть открылась, язык вывалился, пар вырвался, и вместе с паром вылетела бабочка и, как будто совсем ничего с ней не было, — замотыляла себе по-над лугом.

До того измаялась с этой бабочкой Жулька, до того, наверно, ей трудно было сдерживать дыханье с бабочкой во рту, что теперь, увидев бабочку, вдруг сдалась. Вывалив язык, длинный, розовый, она стояла и глядела на летящую бабочку глазами, ставшими сразу и маленькими и глупыми.

Дети приставали к нам с вопросом:

— Ну, почему же это нет у собаки потовых желез?

Мы не знали, что им сказать.

Школьник Вася Веселкин им ответил:

— Если бы у собак были железы и не надо было бы им хахать, так они бы давно уже всех бабочек переловили и скушали.

КАДО

Последний рассказ будет не о Жульке, а о моем большом гладкошерстном пойнтере Кадо. Это очень добрый, ленивый и толстый пес и если не охотится, то спит где-нибудь на полу в солнечном пятне.

Этим летом спать Кадо мешали комары, — у Кадо такая короткая шерсть, что от укусов не защищает. То и дело слышим: огромный Кадо лязгает зубами на комаров. Мало пришлось поспать этим летом Кадо!

Но вот деньки стали короче, лето пошло на убыль, комары исчезли.

Кадо вышел на крыльцо, огляделся, его широкая рыжая морда выражала полное довольство, и по ней мы прочли: «Кажется, больше не будут кусаться: за лето я всю эту дрянь начисто переловил».







ЗВЕРЬ БУРУНДУК



ЗВЕРЬ БУРУНДУК

Можно легко понять, для чего у пятнистого оленя на шкуре его везде рассыпаны частые белые пятнышки.

Раз я на Дальнем Востоке шел очень тихо по тропинке и, сам не зная того, остановился возле притаившихся оленей. Они надеялись, что я не замечу их под

деревьями с широкими листьями, в густой траве. Но, случилось, олений клещ больно укусил маленького теленка; он дрогнул, трава качнулась, и я увидел его и всех. Тут-то вот я и понял, почему у оленей пятна. День был солнечный, и в лесу на траве были «зайчики» — точно такие же, как у оленей и ланей. С такими «зайчиками» легче затаиться. Но долго я не мог понять, почему у оленя назади возле хвоста большой белый кружок, вроде салфетки, а если олень испугается и бросится бежать, то эта салфетка становится еще шире, еще много заметнее. Для чего оленю эти салфетки? Думал я об этом и вот как догадался.

Однажды мы поймали диких оленей и стали их кормить в домашнем питомнике бобами и кукурузой. Зимой, когда в тайге с таким трудом оленю достается корм, они ели у нас готовое и самое любимое, самое вкусное в питомнике блюдо. И они до того привыкли, что, как завидят у нас мешок с бобами, бегут к нам и толпятся возле корыта. И так жадно суют морды и спешат, что бобы и кукуруза часто падают из корыта на землю. Голуби это уже заметили — прилетают клевать зерна под самыми копытами оленей. Тоже прибегают собирать падающие бобы бурундуки, эти небольшие, совсем похожие на белку полосатые прехорошенькие зверьки. Трудно передать, до чего ж пугливы эти пятнистые олени и что только может им представиться. В особенности же пуглива у нас была самка, наша красавица Хуа-Лу.

Случилось раз, она ела бобы в корыте рядом с другими оленями. Бобы падали на землю, голуби и бурундуки бегали возле самых копыт оленей. Вот Хуа-Лу

нечаянно наступила копытцем на пушистый хвост одного зверька, и этот бурундук в ответ впился в ногу оленя. Хуа-Лу вздрогнула, глянула вниз, и ей, наверно, бурундук представился чем-то ужасным. Как она бросится! И за ней разом все на забор, и — бух! — забор наш повалился. Маленький зверек бурундук, конечно, сразу отвалился, но для испуганной Хуа-Лу теперь за ней бежал, несся по ее следам не маленький, а огромнейший зверь бурундук. Другие олени ее понимали по-своему и вслед за ней стремительно неслись. И все бы эти олени убежали и весь наш большой труд пропал бы, но у нас была немецкая овчарка Тайга, хорошо приученная к этим оленям. Мы пустили вслед за ними Тайгу. В безумном страхе неслись олени, и, конечно, они думали, что не собака за ними бежит, а все тот же страшный, огромный зверище бурундучище.

У многих зверей есть такая повадка, что если их гонят, то они бегут по кругу и возвращаются на то же самое место. Так охотники зайцев гоняют с собаками: заяц почти всегда прибегает на то же самое место, где лежал, и тут его встречает стрелок. И олени так неслись долго по горам и долам и вернулись к тому же самому месту, где им хорошо живется — и сытно и тепло. Так вот и вернула нам оленей отличная, умная собака Тайга. Но я чуть было и не забыл о белых салфетках, из-за чего я завел этот рассказ. Когда Хуа-Лу бросилась через упавший забор и от страха у ней назади белая салфетка стала много шире, много заметней, то в кустах только и видна была одна эта мелькающая белая салфетка. По этому белому пятну бежал за ней другой олень и сам тоже показывал

следующему за ним оленю свое белое пятно. Вот тут-то я и догадался впервые, для чего служат эти белые салфетки пятнистым оленям. В тайге ведь не только бурундук — там и волк, и леопард, и сам тигр. Один олень заметит врага, бросится, покажет белое пятнышко и спасает другого, а этот спасает третьего, и все вместе приходят в безопасные места.

РОЖДЕНИЕ КАСТРЮЛЬКИ

Мы были в питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке. Эти олени так красивы, что по-китайски называются «олень-цветок». Каждый олень имеет свою кличку. Пискунья и Манька со своими оленятами совершенно ручные оленухи, но, конечно, из оленух всех добрее Кастрюлька. С этой Кастрюлькой может такое случиться, что придет под окошко и, если вы не обращаете на нее внимания, положит голову на подоконник и будет дожидаться ласки. Очень любит, если ее почешут между ушами. А между тем она вышла не от домашних, а от диких оленей.

Кастрюлька оттого, оказывается, особенно ласковая, что взята от своей дикой матери в тайге в первый же день своего рождения. Если бы удалось поймать ее только на второй день, то она далеко не была бы такая добрая, или, как говорят, легкобычная. А взятый на третий день олененок и дальше навсегда останется буковатым.

Олени начинают телиться в мае, а кончают в июне. Было это в первой половине июня. Сергей Федорович взял свою Тайгу, немецкую овчарку, приученную к оленям, и отправился в горы. Разглядывая в бинокль горы, долины, ручьи, он нашел в одной долине желтое пятно и понял в нем оленей. После того, пользуясь ветром в ущельях, долго подкрадывался к ним, и они не чуяли и не слышали его приближения. Подкрался он к ним из-под горы совсем близко и, наблюдая в бинокль одну оленуху, заметил, что она отбилась от стада и скрылась в кустах, где бежит горный ручей. Сергей Федорович сделал предположение, что оленуха скоро в кустах должна растелиться.

Так оно и было. Оленуха вошла в густые дубовые заросли и родила желтого теленочка с белыми, отчетливыми на рыжем пятнами, совершенно похожими на пятна солнечных лучей — «зайчики». Теленок сначала не мог подняться, и она сама легла к нему, стараясь подвинуть к его губам вымя. Тронул теленок вымя губами, попробовал сосать. Она встала, и он стоя начал сосать, но был еще очень слаб и опять лег. Она опять легла к нему и опять подвинула вымя. Попив молочка, он поднялся, стал твердо, но тут послышался шум в кустах, и ветер донес запах собаки. Тайга приближалась...

Мать поняла, что надо бежать, и свистнула. Но он еще не понимал или был слаб. Она попробовала подтолкнуть его в спину губами. Он покачнулся. Она решила обмануть собаку, чтобы та за ней погналась, а теленка уложить и спрятать в траве. Так он и замер в траве, весь осыпанный и солнечными и своими «зайчиками». Мать



отбежала в сторону, встала на камень, увидала Тайгу. Чтобы обратить на себя внимание, она громко свистнула, топнула ногой и бросилась бежать. Не чувствуя, однако, за собой погони, она опять остановилась на высоком месте и разглядела, что Тайга и не думает за ней бежать, а все ближе и ближе подбирается к корню дерева, возле которого свернулся ее олененок. Не помогли ни свист, ни топанье. Тайга все ближе и ближе подходила к кусту. Быть может, оленуха-мать пошла бы выручать свое дитя, но тут рядом с Тайгой показался Сергей Федорович, и она опрометью бросилась в далекие горы.

За Тайгой пришел Сергей Федорович. И вот только что черненькие глазки блестят и только что тельце тепленькое, а то бы и на руки взять, и все равно сочтешь за неживое: до того притворяются каменными.

Обыкновенно таких пойманных телят приучают пить молоко коровье из бутылки: сунут в рот горлышко и булькают, а там хочешь — глотай, хочешь — нет, все равно есть захочется, рано или поздно глотнешь. Но эта оленушка, к удивлению всех, начала пить прямо из кастрюльки. Вот за это сама была названа Кастрюлькой.

Ухаживать за этим теленком Сергей Федорович назначил свою дочку Люсю, и она ее все поила, поила из той самой кастрюльки, а потом стала давать веники из прутьев молодого кустарника. И так ее выходила.

ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

Однажды стадо драгоценных диких пятнистых оленей, продвигаясь к морю, пришло на узенький мыс. Мы протянули за ними поперек всего мыса проволочную сетку и преградили им путь в тайгу. У оленей для питания много было и травы и кустарника, нам оставалось только охранять дорогих гостей наших от хищников — леопардов, волков и даже от орлов. Однажды я с высоты Туманной горы стал разглядывать скалу внизу. Я скоро заметил, что у самого моря, на высокой скале, покрытой любимой оленями травой, паслась самка оленя и возле нее в тени лежал какой-то желтенький кружок. Разглядывая в хороший бинокль, я скоро уверился, что кружком в тени лежал молоденький олененок. Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь как будто попасть ими в недоступные ему темнозеленые сосны, поднялся большой орел, взвился высоко, выглядел олененка и бросился. Но мать услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила: она встала на задние ноги против детеныша и передними копытцами старалась попасть в орла, и он, обозленный неожиданным препятствием, стал наступать, пока одно острое копытце не попало в него. Смятый орел с трудом оправился в воздухе и полетел обратно в сосны, где у него было гнездо.

Мы вскоре после этого разорили гнездо хищника, а красивые скалы назвали Орлиным гнездом.



ГОЛУБЫЕ ПЕСЦЫ

В Японском море есть маленький остров Фуругельм. Наши звероводы привезли с севера голубых песцов, пустили на остров, и дорогие звери прижились. Я с интересом наблюдал здесь жизнь этих очень семейственных, но чрезвычайно плутоватых зверей, близких родственников нашей хитрой лисицы. Совсем недалеко от рыбацкого лагеря, почти возле самых палаток, устроилась необыкновенно продувная и сильная семья песцов. Тут когда-то стояла фанза, корейская изба; теперь от нее остался лишь кан, или пол, заросший бурьяном в рост человека. У корейцев пол отапливается, устраивается с дымоходами, как печь. И вот под этим каном и устроилась жить пара песцов — Ванька и Машка.

Между прочим, возле кана над бурьяном возвышалась горка старого мусора и служила песцам верандой или наблюдательным пунктом.

Однажды белоголовый орел осмелился спуститься к рыбакам и выхватить с их промысла сардинку.

Орел поднял рыбку на скалу. А песцы во главе с Ванькой и Машкой следили за действиями белоголового.

Вот только-только принялся белоголовый клевать свою добычу, откуда ни возьмись, белохвостый орел и бросился на белоголового, чтоб отнять у него сардинку. В это время песцы всмотрелись своими желтыми глазами и смекнули. Ванька остался с детьми, а Машка в корот-

кое время с камушка на камушек добралась до вершины скалы, схватила сардинку и была такова.

Дома на своей веранде, отдав добычу детям, песцы как ни в чем не бывало продолжали с интересом следить за борьбой орлов, теперь уже совсем и забывших о рыбке.

БАРС

В нашем питомнике пятнистых оленей на Дальнем Востоке одно время поселился барс и начал их резать. Охотник Лувен сказал:

— Олень-цветок и барс — это нельзя вместе!

И мы начали ежедневно искать встречи с барсом, чтобы застрелить его. Однажды наверху Туманной горы барс скрылся от меня под камнем. Я сделал далекий обход по хребту, узнал замеченный камень, очень осторожно подкрался, но страшного барса под этим камнем уже не было.

Я обошел еще все это место кругом и сел отдохнуть. На досуге стал я разглядывать одну запыленную плиту горного сланца и ясно увидел на пыли отпечаток мягкой лапы красивого зверя.

Много раз я ставил свой глаз по разным направлениям, и сомнений у меня не оставалось никаких: барс проходил по этой плите. Конечно, мне хорошо было известно, что тигры и барсы ходят часто по хребтам и

высматривают оттуда свою добычу. И в этом следу не было ничего особенного.

Посмотрел я на след и пошел дальше.

Через некоторое время, поискав еще барса, я случайно пришел на то же самое место, опять сел возле той же самой плиты и опять стал разглядывать след. И вдруг я заметил рядом с отпечатком барсовой лапы другой, еще более отчетливый. Мало того: на этом следу, приглядываясь против солнца, я увидел — торчали две иголочки, и я узнал в них шерстки от барсовой лапы. Солнце за время моего обхода, конечно, стало немного под другим углом посылать свои лучи на плиту, и я мог тогда, в первый раз, легко пропустить второй след барса, но шерстинок я не мог пропустить. Значит, шерсть явилась во время моего второго обхода. Это было согласно с тем, что приходилось слышать о повадках тигра и барса; это их постоянный прием — заходить в спину преследующего их человека.

Теперь нечего было терять время. Быстро я спустился к Лувену, рассказал ему все, и мы с ним вместе пришли на хребет, где барс крался за мной. Там обошли мы с ним вместе, разглядывая каждый камень, еще раз дважды мной пройденный круг.

Против плиты, чтобы скрыть свой след, при помощи длинной палки я прыгнул вниз, еще раз прыгнул, до первого кустика, и там притаился и утвердил хорошо на камнях дуло своей винтовки и локти. Лувен продолжал свой путь по тому же самому кругу...

Не много пришлось мне ждать. На голубом фоне неба я увидел черный облик ползущего зверя. Громадная

кошка ползла за Лувеном, не подозревая, что я на нее смотрю через прорезь винтовки. Лувен, конечно, если бы даже и глядел назад, ничего бы не мог заметить, разве только глаза.

Когда барс подполз к плите, встал на нее, приподнялся, чтобы поверх большого камня посмотреть на Лувена, я приготовился. Казалось, барс, увидев одного человека, вместо двух, растерялся, как бы спрашивая окрестности: «Где же другой?» И когда, все кругом расспросив, он подозрительно посмотрел на мой куст, я нажал спуск.

Какой прекрасный ковер мы добыли! Зверь этот ведь у нас на Дальнем Востоке совсем неверно называется почему-то барсом и даже мало похож на кавказского барса: этот зверь есть леопард, ближайший родственник тигра, и шкура его необыкновенно красива.

— Хорошо, хорошо! — радостно говорил Лувен, оглаживая роскошный ковер. — Олень-цветок и барс — это вместе нельзя жить.



ЛИМОН

В одном совхозе было. Пришел к директору знакомый китаец Ван Ли и принес подарок. Директор, Трофим Михайлович, услыхав о подарке, замахал рукой. Огорченный Ван Ли поклонился и хотел уходить.

А Трофиму Михайловичу стало жалко китайца, и он остановил его вопросом:

— Какой же ты хотел поднести мне подарок?

— Я хотел бы, — ответил Ван Ли, — поднести тебе в подарок свой маленький собак, самый маленький, какой только есть в свете.

Услыхав о собаке, Трофим Михайлович еще больше смутился. В доме директора в это время было много разных животных: жил кудрявый пес Нелли, гончая собака Трубач, жил Мишка, кот черный, блестящий и самостоятельный, жил грач ручной, ёжик домашний и Борис, молодой красивый баран. Всех этих животных держали в доме для мальчика Шуры: Елена Васильевна очень любила животных и сынка своего немного баловала. При таком множестве дармоедов Трофим Михайлович, понятно, должен был смутиться, услыхав о новой собаке.

— Молчи! — сказал он тихонько китайцу и приложил палец к губам.

Но было уже поздно: Елена Васильевна услыхала слова о самой маленькой во всем свете собачке.

— Можно посмотреть? — спросила она, появляясь в конторе.

— Собака здесь! — ответил Ван Ли.

— Приведи!

— Он здесь! — повторил китаец. — Не надо совсем приведи.

И вдруг с очень доброй улыбкой вынул из своей кофты притаенную за пазухой собачку, каких я в жизни своей никогда не видел и, наверно, у нас в Москве мало кто видел. Моей мягкой шляпой ее можно было бы прикрыть,

прихватить и так унести. Она была рыженькая, с очень короткой шерстью, почти голая и, как самая тоненькая пружинка, постоянно отчего-то дрожала. Такая маленькая, а глазищи большие, черные, блестящие и навыкате, как у муравья.

— Что за прелесть! — воскликнула Елена Васильевна.

— Возьми его! — сказал счастливый похвалой Ван Ли.

И передал свой подарок хозяйке.

Елена Васильевна села на стул, взяла к себе на колени дрожавшую не то от холода, не то от страха пружинку, и сейчас же маленькая верная собачка начала ей служить, да еще как служить!

Сам директор протянул было руку погладить своего нового жильца, и в один миг тот хватил его за указательный палец. Но, главное, при этом поднял в доме такой сильный визг, как будто кто-то на бегу схватил поросенка за хвостик и держал.

Визжал долго, взлаивал, захлебывался, дрожал, голенький, от холода и злости, как будто не он директора, а его самого укусил директор совхоза.

Вытирая платком кровь на пальце, недовольный Трофим Михайлович сказал, внимательно вглядываясь в нового сторожа своей жены:

— Визгу много, шерсти мало!

Услыхав визг и лай, прибежали Нелли, Трубач, Борис. Мишка прыгнул на подоконник; на открытой форточке пробудился задремавший грач. Новый жилец принял всех их за неприятелей своей дорогой хозяйки и бросился в бой. Он выбрал себе почему-то барана и больно укусил

его за ногу. Борис метнулся на старый конторский турецкий диван и там закрылся подушками, Нелли и Трубач от маленького чудища унеслись из конторы в столовую. Проводив огромных врагов, маленький воин кинулся на Мишку, но тот не побежал: изогнув спину дугой, завел свою общеизвестную ядовитую военную песню.

— Нашла коса на камень! — сказал Трофим Михайлович, высасывая кровь из раненого указательного пальца. — Визгу много, шерсти мало! — повторил он своему обидчику. И коту Мишке, подтолкнув его ногой: — Ну-ка, Мишка, пыхни в него!

Мишка поднял свою военную песню на самую большую высоту и хотел было пыхнуть, но, быстро заметив, что враг от песни его не только не моргнул, а зажег новый страшный огонь в своих огромных выпуклых муравьиных глазах, метнулся сначала на подоконник, а потом и в форточку, увлекая на воздух вместе с собой и грача.

После этого большого дела победитель как ни в чем не бывало прыгнул обратно на колени своей хозяйки.

— А как его звать? — спросила очень довольная виденным Елена Васильевна.

Ван Ли ответил просто:

— Лимон.

Никто не стал добиваться, что значит по-китайски слово «лимон», все подумали: собачка очень маленькая, желтая, и лимон в нашем смысле — кличка ей самая подходящая.

Так начал этот забияка властвовать и тиранить дружных между собой и добродушных зверей. Как раз в это

время я гостил у директора и четыре раза в день приходил есть и пить чай в столовую. Лимон возненавидел меня, и стоило мне показаться в столовой, чтобы он летел с колен хозяйки навстречу моему сапогу, а когда сапог легонечко его задевал, летел обратно на колени и ужасным визгом возбуждал хозяйку против меня. Во время самой еды он несколько примолкал, но опять начинал, когда я в забывчивости после обеда пытался приблизиться к хозяйке и поблагодарить.

Моя комната от хозяйских комнат отделялась тоненькой перегородкой, и от вечных завываний маленького тирана мне совсем почти невозможно было ни читать, ни писать.

А однажды глубокой ночью меня разбудил такой визг у хозяев, что я подумал, не пришли ли уж, не забрались ли к ним воры и разбойники. С оружием в руках бросился я на хозяйскую половину.

Оказалось, другие жильцы тоже прибежали на выручку и стояли кто с ружьем, кто с револьвером, кто с топором, кто с вилами, а в середине их круга Лимон дрался с домашним ежом.

И много такого случалось почти ежедневно. Жизнь становилась тяжелой, и мы с Трофимом Михайловичем стали крепко задумываться, как бы нам избавиться от неприятностей.

И вот случилось. Однажды Елена Васильевна ушла куда-то и в первый раз за все время оставила почему-то Лимона дома. Тогда мгновенно мелькнул у меня в голове план спасения, и, взяв в руку шляпу, я прямо пошел в столовую.

— Ну, брат, — сказал я Лимону, — хозяйка ушла, теперь твоя песенка спета. Сдавайся уж лучше.

И, дав ему грызть свой тяжелый сапог, сверху вдруг накрыл его своей мягкой шляпой, обнял полями и, перевернув, посмотрел: в глубине шляпы лежал молчаливый комок, и глаза оттуда глядели большие и, как мне показалось, печальные.

Мне даже стало чуть-чуть жалко, и в некотором смущении я подумал: «А что, если от страха и унижения сделается у него разрыв сердца, как я отвечу тогда Елене Васильевне?»

— Лимон, — стал я его ласково успокаивать, — не сердись, Лимон, на меня, будем друзьями.

И погладил его по голове. Погладил еще и еще. Он не противился, но и не веселел.

Я совсем забеспокоился и осторожно пустил его на пол. Почти шатаясь, он тихо пошел в спальню. Даже обе большие собаки и баран насторожились и проводили его удивленными глазами.

За обедом, за чаем, за ужином в этот день Лимон молчал, и Елена Васильевна стала думать, не заболел ли уж он.

На другой день после обеда я даже подошел к хозяйке и в первый раз имел удовольствие поблагодарить ее за руку. Лимон как будто набрал в рот воды.

— Что-то вы с ним сделали в мое отсутствие? — спросила она.

— Ничего, — ответил я спокойно. — Наверно, он начал привыкать — и ведь пора!

Я не решился сказать ей, что Лимон побывал у меня

в шляпе. Но с Трофимом Михайловичем мы радостно перешепнулись, и, казалось, он ничуть не удивился, что Лимон потерял свою силу от шляпы.

— Все забияки такие, — сказал он. — И наговорит-то тебе, и навизжит, и пыль пустит в глаза, но стоит посадить его в шляпу — и весь дух вон: визгу много, шерсти мало.



БЕЛЫЙ ОЖЕРЁЛОК

Слышал я в Сибири, около озера Байкал, от одного гражданина про медведя и, признаюсь, не поверил. Но он меня уверял, что об этом случае в старое время даже в сибирском журнале было напечатано под заглавием: «Человек с медведем против волков».

Жил на берегу Байкала один сторож, рыбу ловил, белок стрелял. И вот раз будто бы видит в окошко этот сторож — бежит прямо к избе большой медведь, а за ним гонится стая волков. Вот-вот бы и конец медведю... Он, мишка этот, не будь плох, в сени, дверь за ним сама закрылась, а он еще на нее лапу и сам привалился. Старик, поняв это дело, снял винтовку со стены и говорит:

— Миша, Миша, подержи!

Волки лезут на дверь, а старик выцеливает волка в окно и повторяет:

— Миша, Миша, подержи!

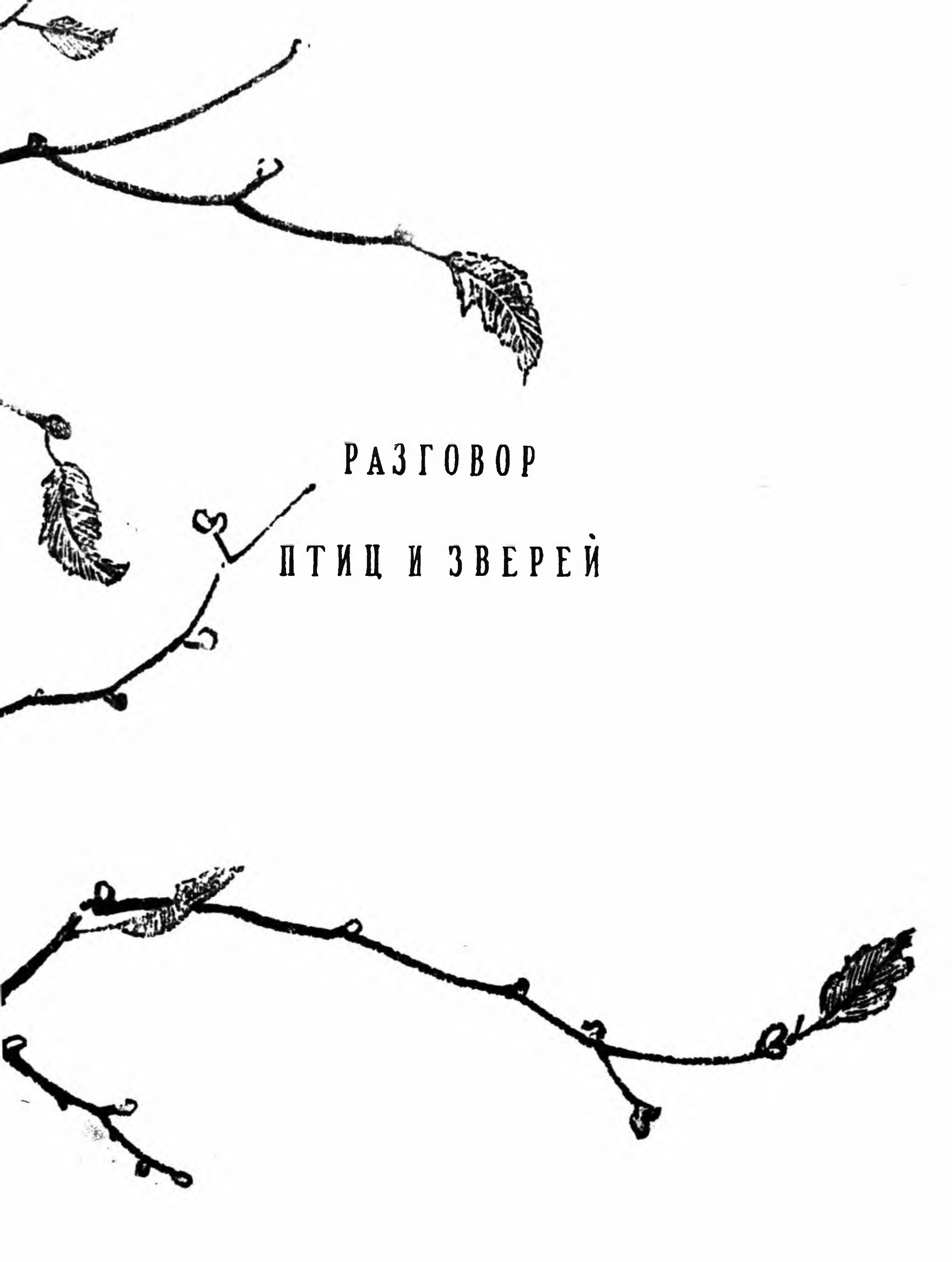
Так убил одного волка, и другого, и третьего, все время приговаривая:

— Миша, Миша, подержи...

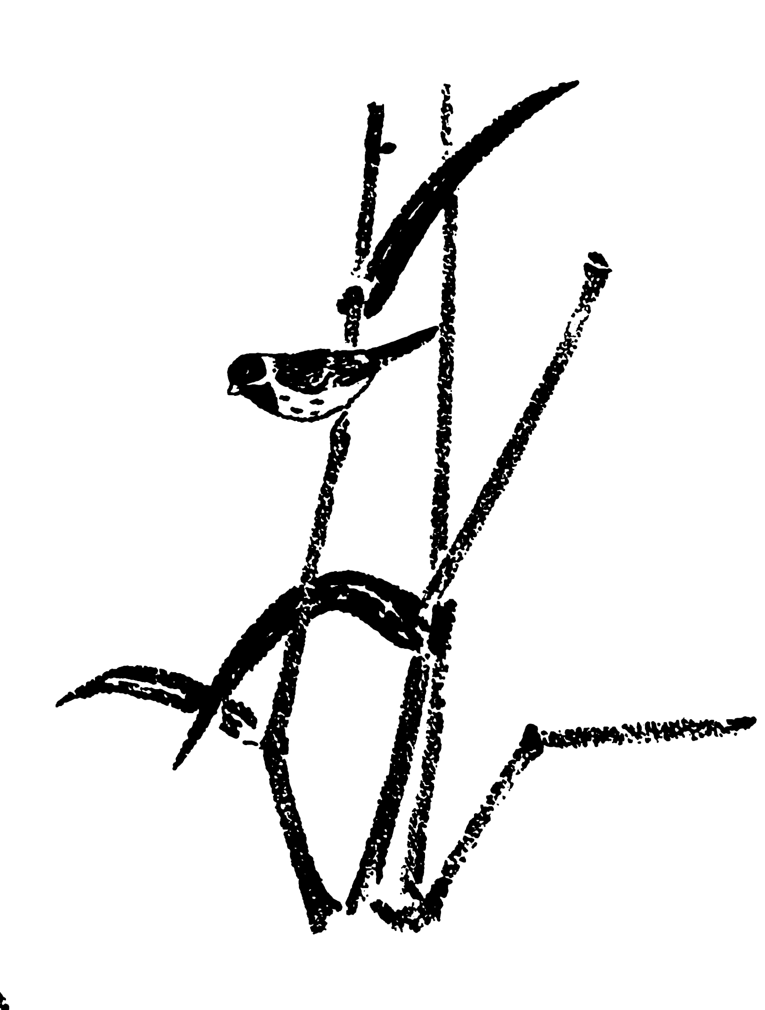
После третьего стая разбежалась, а медведь остался в избе зимовать под охраной старика. Весной же, когда медведи выходят из своих берлог, старик будто бы надел на этого медведя белый ожерёлок и всем охотникам наказал, чтобы медведя этого — с белым ожерёлком — никто не стрелял: этот медведь — его друг.







РАЗГОВОР ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ



РАЗГОВОР ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

Занятна охота на лисиц с флагами! Обойдут лисицу, узнают ее лёжку и по кустам на версту, на две вокруг спящей развесят веревки с кумачовыми флагами. Лисица очень боится цветных флагов и запаха кумача; спугнутая, ищет выхода из страшного

круга. Выход ей оставляют, и около этого места под прикрытием елочки ждет ее охотник.

Такая охота с флагами много добычливей, чем с гончими собаками. А эта зима была такая снежная, с таким рыхлым снегом, что собака тонула вся по уши, и гонять лисиц с собакой стало невозможно. Однажды, измучив себя и собаку, я сказал егерю Михал Михалычу:

— Бросим собак, заведем флаги — ведь с флагами можно каждую лисицу убить.

— Как это — каждую? — спросил Михал Михалыч.

— Так, просто, — ответил я. — После пороши возьмем свежий след, обойдем, затянем круг флагами, и лисица наша.

— Это было в прежнее время, — сказал егерь. — Бывало, лисица трое суток сидит, не смеет выйти за флаги. Что лисица — волки сидели по двое суток! Теперь звери стали умнее, часто с гону прямо под флаги, и прощай.

— Я понимаю, — ответил я, — что звери матерые, не раз уже бывшие в переделке, поумнели и уходят под флаги, но ведь таких сравнительно немного; большинство, особенно молодежь, флагов и не видывали.

— Не видывали! Им и видеть не нужно. У них есть разговор.

— Какой такой разговор?

— Обыкновенный разговор. Бывает, ставишь капкан, зверь старый, умный побывает возле, не понравится ему и отойдет. А другие потом и далеко не подойдут. Ну вот, скажи, как же они узнают?

— А как ты думаешь?

— Я думаю, — ответил Михал Михалыч, — звери читают.

— Читают?

— Ну да, носом читают. Это можно и по собакам заметить. Известно, как они везде — на столбиках, на кучках, на кустиках — оставляют свои заметки, другие потом идут и все разбирают. Так лисица, волк постоянно читают; у нас глаза, у них нос. Второе у зверей и птиц, я считаю, голос. Летит ворон и кричит: нам хоть бы что, а лисичка навострила ушки в кустах, спешит в поле. Ворон летит и кричит наверху, а внизу по крику ворона во весь дух мчится лисица. Ворон спускается на падаль, и лисица уж тут как тут. Да что лисица! А разве не случалось тебе о чем-нибудь догадываться по сорочьему крику?

Мне, конечно, как всякому охотнику, приходилось пользоваться чекотанием сороки, но Михал Михалыч рассказал особенный случай. Раз у него на заячьем гону сколоись собаки. Заяц вдруг будто провалился сквозь землю. Тогда совсем в другой стороне зачекотала сорока. Егерь, крадучись, идет к сороке, чтобы она его не заметила. А это было зимой, когда все зайцы уже побелели; только снег весь растаял, и белые на земле стали далеко заметны. Егерь глянул под дерево, на котором чекотала сорока, и видит: белый просто лежит на зеленом мошку, и глазенки, черные, как две бобины, глядят...

Сорока выдала зайца, но она и человека выдает зайцу и всякому зверю, только бы кого ей первого заметить.

— А знаешь, — сказал Михал Михалыч, — есть маленькая желтая болотная овсянка. Когда выходишь



в болото за утками, начинаешь тихонечко скрадывать[1]. Вдруг, откуда ни возьмись, эта самая желтая птичка садится на тростинку впереди тебя, качается на ней и попискивает. Идешь дальше, и она перелетает на другую тростинку и все пищит и пищит. Это она дает знать всему болотному населению; глядишь, там утки догадались о приближении охотника и улетели, а там журавли замахали крыльями, там стали вырываться бекасы. И все это она, все она. Так по-разному сказывают птицы, а звери больше читают следы.

ЛУГОВКА

(Рассказ старого лесника)

Летят по весне журавли.

Мы плуги налаживаем. В нашем краю старинная примета: в двенадцатый день после журавлей начинается пахота под яровое.

Пробежали вешние воды. Выезжаю пахать.

Наше поле лежит в виду озера. Видят меня белые чайки, слетаются. Грачи, галки — все собираются на мою борозду клевать червя. Спокойно так идут за мной во всю полосу белые и черные птицы, только чибис один, по-нашему, деревенскому, луговка, вот вьется надо мной, вот кричит, беспокоится. Самки у луговок очень рано садятся на яйца. «Где-нибудь у них тут гнездо», — подумал я.

---

[1] Скрадывать (охотничье слово) — подкрадываться.

— Чьи вы, чьи вы? — кричит чибис.

— Я-то, — отвечаю,— свойский, а ты чей? Где гулял? Что нашел в теплых краях?

Так я разговариваю, а лошадь вдруг покосилась и — в сторону: плуг вышел из борозды. Поглядел я туда, куда покосилась лошадь, и вижу — сидит луговка прямо на ходу у лошади. Я тронул коня, луговка слетела, и показалось на земле четыре яйца. Вот ведь как у них: невитые гнезда, чуть только поцарапано, и прямо на земле лежат яйца, — чисто как на столе.

Жалко стало мне губить гнездо: безобидная птица. Поднял я плуг, обнес и яйца не тронул.

Дома рассказываю детишкам: так и так, что пашу я, лошадь покосилась, вижу — гнездо и четыре яйца.

Жена говорит:

— Вот бы поглядеть!

— Погоди, — отвечаю, — будем овес сеять, и поглядишь.

Вскоре после того вышел я сеять овес, жена боронит. Когда я дошел до гнезда, остановился. Маню жену рукой. Она лошадь окоротила, подходит.

— Ну вот, — говорю, — любопытная, смотри.

Материнское сердце известное: подивилась, пожалела, что яйца лежат беззащитно, и лошадь с бороной обвела.

Так посеял я овес на этой полосе и половину оставил под картошку. Пришло время сажать. Глядим мы с женой на то место, где было гнездо, — нет ничего: значит, вывела.

С нами в поле картошку сажать увязался Кадошка. Вот эта собачонка бегает за канавой по лугу, мы не гля-

дим на нее: жена садит, я запахиваю. Вдруг слышим — во все горло кричат чибисы. Глянули туда, а Кадошка, баловник, гонит по лугу четырех чибисёнков — серенькие, длинноногие и уже с хохолками, и всё как следует, только летать не могут и бегут от Кадошки на своих на двоих. Жена узнала и кричит мне:

— Да ведь это наши!

Я кричу на Кадошку; он и не слушает — гонит и гонит.

Прибегают эти чибисы к воде. Дальше бежать некуда. «Ну, — думаю, — схватит их Кадошка!» А чибисы — по воде, и не плывут, а бегут. Вот диво-то! Чик-чик-чик ножками — и на той стороне.

То ли вода еще была холодная, то ли Кадошка еще молод и глуп, только остановился он у воды и не может дальше. Пока он думал, мы с женой подоспели и отозвали Кадошку.

ГАЕЧКИ

Мне попала соринка в глаз. Пока я ее вынимал, в другой глаз еще попала соринка.

Тогда я заметил, что ветер несет на меня опилки и они тут же ложатся дорожкой в направлении ветра. Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над сухим деревом.

Я пошел на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что это две самые маленькие синицы, гайки — сизые, с черными полосками на белых пухленьких щечках, — работали носами по сухому дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине. Работа шла так бойко, что птички на моих глазах все глубже и глубже уходили в дерево. Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока наконец от одной гаечки на виду остался лишь хвостик. Тогда я тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, где торчит хвостик, покрыл ладонью. Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто умерла. Я принял ладонь, потрогал пальцем хвостик — лежит, не шевелится; погладил пальцем вдоль спинки — лежит, как убитая. А другая гаечка сидела на ветке в двух-трех шагах и попискивала. Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как можно смирнее. «Ты, — говорила она, — лежи и молчи, а я буду около него пищать; он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай».

Я не стал мучить птичку, отошел в сторону и наблюдал, что будет дальше. Мне пришлось стоять довольно долго, потому что свободная гайка видела меня и предупреждала пленную:

— Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и смотрит...

Так я очень долго стоял, пока наконец свободная гайка не пропищала совсем особенным голосом, как я догадываюсь:

— Вылезай, ничего не поделаешь: стоит.

Хвост исчез. Показалась головка с черной полоской на щеке. Пискнула:

— Где же он?

— Вон стоит, — пискнула другая. — Видишь?

— А, вижу! — пискнула пленница.

И выпорхнула. Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть друг другу:

— Давай посмотрим, может быть, он и ушел.

Сели на верхнюю ветку. Всмотрелись.

— Стоит, — сказала одна.

— Стоит, — сказала другая.

И улетели.

ДЕРГАЧ И ПЕРЕПЕЛКА

В середине лета и соловей и кукушка перестают петь, но почему-то еще долго, пока не скосят траву и рожь, кричат дергач и перепелка. В это время, когда все смолкает в природе от больших забот по выращиванию малышей, выйдите за город после вечерней зари, и вы непременно услышите, как дергач кричит, вроде как бы телушку зовет изо всей мочи:

— Тпрусь, тпрусь!

И вслед за тем перепелка очень торопливо и отрывисто, похоже на слова:

— Вот идет! Вот ведет!

Раз я спросил бабушку, как это она понимает, почему дергач кричит «тпрусь», а перепелка — «вот идет, вот ведет». Старушка рассказала про это сказочку:

— Дергач сватался весной к перепелке и обещался ей телушку привесть. Наговорил ей, как они хорошо будут жить с коровушкой, молочко попивать и сметанку лизать. Обрадовалась перепелка и согласилась радостно жить с дергачом, обласкала его, угостила всеми своими зернышками. А дергачу только этого и надо было, чтобы посмеяться над перепелкой. Ну какая же, правда, у дергача может быть корова? Одно слово — дергач, голоногий насмешник. Вот, когда смеркается и перепелке ничего не видно на лугу, дергач сядет под кустик и зовет нарочно корову:

— Тпрусь, тпрусь!

А перепелка дождалась — рада; думает, дергач и вправду корову ведет. Хозяйственная она, перепелка, — радость радостью, а забота само собой одолевает: нет у нее хлева, куда девать ей корову?

— Тпрусь, тпрусь! — кричит дергач.

А перепелка беспокоится:

— Вот идет!

— Вот ведет!

— Хлева нет!

— Негде деть!

Так всю ночь дразнит и беспокоит дергач перепелку, от вечерней зари до утренней...

ХЛОПУНКИ

Растут, растут зеленые дудочки; идут, идут с болот сюда тяжелые кряквы, переваливаясь, а за ними, посвистывая, — черные утята с желтыми лапками между кочками за маткой, как между горами.

Мы плывем на лодке по озеру в тростники проверить, много ли будет в этом году уток и как они, молодые, растут: какие они теперь — летают, или пока еще только ныряют, или удирают бегом по воде, хлопая короткими крыльями. Эти хлопунки — очень занятная публика. Направо от нас, в тростниках, зеленая стена и налево зеленая, мы же едем по свободной от водяных растений узкой полосе. Впереди нас на воду из тростников выплывают два самых маленьких чирёнка-свистунка в черном пуху и, завидев нас, начинают во всю мочь удирать. Но, сильно упираясь в дно веслом, мы дали нашей лодке очень быстрый ход и стали их настигать. Я уже протянул было руку, чтобы схватить одного, но вдруг оба чирёнка скрылись под водой. Мы долго ждали, пока они вынырнут, как вдруг заметили их в тростниках. Они затаились там, высунув носики между тростниками. Мать их — чирок-свистунок — все время летала вокруг нас и очень тихо, вроде как бывает, когда утка, решаясь спуститься на

воду, в самый последний момент перед соприкосновением с водой как бы стоит в воздухе на лапках.

После этого случая с маленькими чирятами впереди, на ближайшем плёсе, показался кряковый утенок, совсем большой, почти с матку. Мы были уверены, что такой большой может отлично летать, стукнули веслом, чтобы он полетел. Но, верно, он еще летать не пробовал и пустился от нас хлопунком. Мы тоже пустились за ним и стали быстро настигать. Его положение было много хуже, чем тех маленьких, потому что место было тут до того мелкое, что нырнуть ему некуда. Несколько раз в последнем отчаянии он пробовал клюнуть носом в воду, но там ему показывалась земля, и он только время терял.

В одну из таких попыток наша лодочка поравнялась с ним, я протянул руку...

В эту минуту последней опасности утенок собрался с силами и вдруг полетел. Но это был его первый полет, он еще не умел управлять. Он летел совершенно так же, как мы, научившись садиться на велосипед, пускаем его движением ног, а рулем повернуть еще боимся, и потому первая поездка бывает все прямо, прямо, пока не наткнемся на что-нибудь, и — бух набок. Так и утенок летел все прямо, а впереди него была стена тростников. Он не умел еще взмыть над тростниками, зацепился лапками и чебурахнулся вниз.

Точно так было со мной, когда я прыгал, прыгал на велосипед, падал, падал и вдруг сел и с большой быстротой помчался прямо на корову...

ВЫСКОЧКА

Наша охотничья собака, лайка, приехала к нам с берегов Бии, и в честь этой сибирской реки так и назвали мы ее Бией. Но скоро эта Бия почему-то у нас превратилась в Бьюшку, Бьюшку все стали звать Вьюшкой. Мы с ней мало охотились, но она прекрасно служила у нас сторожем. Уйдешь на охоту и будь уверен: Вьюшка не пустит врага.

Веселая собачка эта Вьюшка, всем нравится: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки беленькие, как чеснок. Достались ей от обеда две косточки. Получая подарок, Вьюшка развернула колечко своего хвоста и опустила его вниз поленом. Это у нее означало тревогу и начало бдительности, необходимой для защиты, — известно, что в природе на кости есть много охотников. С опущенным хвостом Вьюшка вышла на траву-мураву и занялась одной косточкой, другую же положила рядом с собой.

Тогда, откуда ни возьмись, сороки: скок, скок! — и к самому носу собаки. Когда же Вьюшка повернула голову к одной — хвать! — другая сорока с другой стороны хвать! — и унесла косточку.

Дело было поздней осенью, и сороки вывода этого лета были совсем взрослые. Держались они тут всем вы-

водком, в семь штук, и от своих родителей постигли все тайны воровства. Очень быстро они оклевали украденную косточку и недолго думая собрались отнять у собаки вторую.

Говорят, что в семье не без урода. То же оказалось и в сорочьей семье. Из семи сорок одна вышла не то чтобы совсем глупенькая, а как-то с заскоком и с пыльцой в голове. Вот сейчас то же было: все шесть сорок повели правильное наступление, большим полукругом, поглядывая друг на друга, и только одна Выскочка поскакала ду́ро́м.

— Тра-та-та-та-та! — застрекотали все сороки.

Это у них значило:

— Скачи назад, скачи, как надо, как всему сорочьему обществу надо!

— Тра-ля-ля-ля-ля! — ответила Выскочка.

Это у нее значило:

— Скачите, как надо, а я — как мне самой хочется.

Так за свой страх и риск Выскочка подскакала к самой Вьюшке в том расчете, что Вьюшка, глупая, бросится на нее, выбросит кость, она же изловчится и кость унесет.

Вьюшка, однако, замысел Выскочки хорошо поняла и не только не бросилась на нее, но, заметив Выскочку косым глазом, освободила кость и поглядела в противоположную сторону, где правильным полукругом, как бы нехотя — скок и подумают — наступали шесть умных сорок.

Вот это мгновение, когда Вьюшка отвернула голову, Выскочка улучила для своего нападения. Она схватила кость и даже успела повернуться в другую сторону,



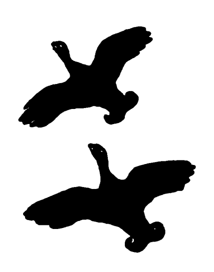
успела ударить по земле крыльями, поднять пыль из-под травы-муравы.

И только бы еще одно мгновение, чтобы подняться на воздух, только бы одно мгновеньишко! Вот только-только бы подняться сороке, как Вьюшка схватила ее за хвост, и кость выпала...

Выскочка вырвалась, но весь радужный длинный сорочий хвост остался у Вьюшки в зубах и торчал из пасти ее длинным острым кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Трудно даже вообразить, во что превращается эта блестящая пестрая и проворная воровка яиц, если ей оборвать хвост. Бывает, деревенские озорные мальчишки поймают слепня, воткнут ему в зад длинную соломинку и пустят эту крупную сильную муху лететь с таким длинным хвостом, — гадость ужасная! Ну, так вот, это муха с хвостом, а тут — сорока без хвоста; кто удивился мухе с хвостом, еще больше удивится сороке без хвоста. Ничего сорочьего не остается тогда в этой птице, и ни за что в ней не узнаешь не только сороку, а и какую-нибудь птицу: это просто шарик пестрый с головкой.

Бесхвостая Выскочка села на ближайшее дерево, все другие шесть сорок прилетели к ней. И было видно по всему сорочьему стрекотанью, по всей суете, что нет в сорочьем быту большего сраму, как лишиться сороке хвоста.



ПТИЦЫ ПОД СНЕГОМ

У рябчика в снегу два спасения: первое — что под снегом тепло ночевать, а второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки вверх для воздуха. Идешь иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба.

Тетерев под снегом не бегает, ему бы только спрятаться от непогоды. Ходов больших под снегом, как у рябчика, у тетеревов не бывает, но устройство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди дырочка над головой для воздуха.

Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или дикость свою потеряла, или же от природы неумная. Ястреб замечает ее перелеты, и, бывает, она только вылетать собирается, а ястреб уже дожидается ее на дереве.

Тетерев, я считаю, много умнее куропатки. Раз было со мной в лесу. Иду я на лыжах; день красный, хороший

мороз. Открывается передо мной большая поляна, на поляне высокие березы, и на березах тетерева кормятся почками. Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под березами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где зарылись тетерева, и заходил. Ну, вот прямо же над самыми тетеревами ходит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень любопытно. Думаю: «Ежели он ходит, значит, чувствует их под собой, и ум у ястреба велик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок-два в снегу».

Ходит и ходит.

Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я подкрадываться к ястребу. Снег мягкий, лыжа не шумит; но только начал я объезжать кустами поляну, вдруг провалился в можжуху[1] по самое ухо. Вылезал я из провалища, конечно, уж не без шума и думал: «Ястреб это услыхал и улетел». Выбрался и о ястребе уж и не думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-за дерева, ястреб прямо передо мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. Я выстрелил. Он лег. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела не испугались. Подошел я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один за другим как начнут, как начнут вылетать; кто никогда не видал, обомрет.

Я много всего в лесу насмотрелся, мне все это просто, но я все-таки дивлюсь на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но всех дурашливей

---

[1] Можжу́хи — кусты можжевельника; когда их снегом завалит, не видишь этих кустов, а снег не выдержит — и провалишься.

я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на гумнах, нет у нее, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху броситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост весь на виду. Ястреб берет ее за хвост и тащит, как повар на сковороде.

ВАЛЬДШНЕП

Весна движется, но медленно. В озерке, еще не совсем растаявшем, лягушки высунулись и урчат. Орех цветет, но еще не пылят желтой пыльцой его сережки. Птичка на лету зацепит веточку, и не полетит от веточки желтый дымок.

Исчезают последние клочки снега в лесу. Листва из-под снега выходит плотно слежалая, серая.

Неподалеку от себя я разглядел птицу такого же цвета, как эта прошлогодняя листва, с большими черными выразительными глазами и носом длинным, не менее половины карандаша.

Мы сидели неподвижно; когда вальдшнеп уверился, что мы неживые, он встал на ноги, взмахнул своим карандашом и ударил им в горячую прелую листву.

Невозможно было увидеть, что он там достал себе из-под листвы, но только мы заметили, что от этого удара в землю сквозь листву у него на носу остался один круглый осиновый листик.

Потом прибавился еще и еще. Тогда мы спугнули его; он полетел вдоль опушки, совсем близко от нас, и мы успели сосчитать: на клювике у него было надето семь старых осиновых листиков.



ТЕРЕНТИЙ

Многие думают, что до крайности трудно вырастить у себя тетерева. Раньше у меня тоже ничего не выходило, и пойманные тетеревята хирели. Но теперь я научился и вырастить у себя тетерева считаю для себя делом не очень трудным. Сильно росистым июльским утром я пускаю собаку на то место, где водятся тетеревиные выводки. Мокрый от росы тетеревенок боится взлететь и бежит в траве, а собака за ним потихоньку идет. Так мы доходим до кочки. Тетеревенок спрячется за кочку, собака станет в упор. Раздвинешь осторожно траву, заметишь перышки... Цап!— и в шляпу. У меня таковская шляпа.

В деревне пойманному лесному гражданину прежде всего надо найти подходящую квартиру. Ныне живущий у меня Терентий, о котором я и рассказываю, вырос в подполье у милой хозяюшки нашей, Домны Ивановны. Самое главное, я считаю, на первых порах — надо бояться застудить тетеревенка: они в это время очень зябкие и

квёлые. Корм начинают есть без всяких хлопот, только надо, конечно, знать, что дать. Если совсем маленьким взять, то надо кормить муравьиными личинками. Но я таких маленьких тетеревят не брал — незачем это: с собакой я всегда могу поймать в росу и хорошо летающего, окрепшего тетеревенка. В неволе он очень скоро привыкает к голосу. Бывало, кричишь ему:

— Терентий, Терентий! Тереха, Тереха!..

Он и бежит. Голову вытянет и ждет. Червячка ему — он и глотнет, — другого, третьего... Чем надо кормить, знаешь по времени: я приношу с охоты тетерева и смотрю, что у него в зобу. Бывают ягоды можжевельника, брусника, черника, клюква. Зимой к корму, запасенному летом — клюква, брусника, — прибавляешь немного овса, потом больше, больше и так приучишь к этому обыкновенному корму, и тетерев живет без всяких хлопот.

Потешно было с нынешним моим Терентием, когда я поймал его и принес к Домне Ивановне. Мы на летнее житье издавна уж ездим к этой Домне Ивановне, и я так приучил ее к своему охотничьему языку, к охотничьим своим птицам, что, бывало, когда соседский петух станет забивать ее петуха, она бросается на вражеского петуха с прутом и ругает его:

— У, бекас, длинноносый, страшный!

Пойманного Терентия эта Домна Ивановна устроила в подполье, и в первый день он там все молчал. Рано утром на следующий день, когда только что стало светать, слышно мне было наверху, как он там, в подполье, забегал и стал по-своему свистать:

— Фиу, фиу!

Или по-нашему:

— Где ты, мама?

Сильней и сильней свистит:

— Фиу, фиу! (Да где же ты, наконец?)

Слышу, Домна Ивановна из кухни — как мать отвечает сквозь сон человеческим детям:

— Милый ты мой...

И так пошло у них. Тетеревенок внизу:

— Фиу! (Где ты, мама?)

Домна Ивановна сверху сквозь сон:

— Милый ты мой...

Потом, видимо, тетеревенок нашел нашу ягоду и замолчал. А я отлично умею по-тетеревиному. Я просвистел:

— Фиу, фиу! (Где ты, мама?)

И Домна Ивановна сейчас же ответила:

— Милый ты мой...

Осенью этого Терентия, в полном черном пере, с хвостовыми косицами лирой и красненькими бровями, я перевез к себе в город, пустил на чердак и всю зиму кормил овсом. Весной у меня на чердаке начался настоящий тетеревиный ток, и это так непривычно, так невероятно — в городе токующий тетерев, — что мой сосед, слесарь Павел Иванович, долго верить не хотел и думал, что это я сам, охотник, потешаю себя и бормочу по-тетеревиному.

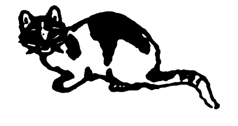
Однажды я зазвал к себе его, велел снять сапоги. На цыпочках, босые, поднялись мы совершенно бесшумно на чердак.

— Смотрите, Павел Иванович! — прошептал я.

И позволил ему из-за моей спины посмотреть. Сам, конечно, пригнулся. Терентий, хорошо освещенный из слухового окна, ходил по чердаку кругом; на пригнутой к полу его голове горели брови ярко-красным цветком, хвост раскинулся лирой, и по-своему он пел. Эту песню свою он взял у весенней воды, когда она, переливаясь, журчит в камешках, — так хорошо! Время от времени, однако, эта прекрасная, но однообразная песня ему как бы прискучивала. Он останавливался, высоко поднимал вверх свой пурпуровый цветок на голове — прислушивался, воображая врага, и с особенным, лесным звуком «фу-фы» подпрыгивал вверх, как бы поражая невидимого противника.

Слесарь Павел Иванович не мог долго оторваться от этого дивного зрелища, и когда наконец я напомнил ему о работе, мы спустились, и на прощанье он мне сказал:

— Спасибо, спасибо, Михаил Михайлович, очень пришелся мне по сердцу ваш Терентий.



КОТ

Когда я вижу из окна, как пробирается в саду Васька, я кричу ему самым нежным голосом:

— Ва-сень-ка!

И он в ответ, я знаю, тоже мне кричит, но я немного

на ухо туг и не слышу, а только вижу, как после моего крика на его белой мордочке открывается розовый рот.

— Ва-сень-ка! — кричу ему.

И догадываюсь, — он кричит мне:

— Сейчас я иду!

И твердым прямым тигровым шагом направляется в дом.

Утром, когда свет из столовой через приоткрытую дверь виднеется еще только бледной щелкой, я знаю, что у самой двери в темноте сидит и дожидается меня кот Васька. Он знает, что столовая без меня пуста, и боится: в другом месте он может продремать мой вход в столовую. Он давно сидит тут и, как только я вношу чайник, с добрым криком бросается ко мне.

Когда я сажусь за чай, он садится мне на левую коленку и следит за всем: как я колю сахар щипчиками, как режу хлеб, как намазываю масло. Мне известно, что соленое масло он не ест, а принимает только маленький кусочек хлеба, если ночью не поймал мышь.

Когда он уверится, что ничего вкусного нет на столе — корочки сыра или кусочка колбасы, то он опускается на моей коленке, потопчется немного и засыпает.

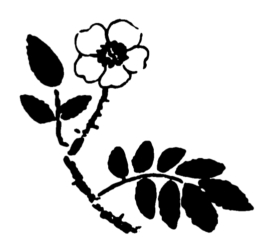
После чая, когда встаю, он просыпается и отправляется на окно. Там он повертывается головой во все стороны, вверх и вниз, считая пролетающих в этот ранний утренний час плотными стаями галок и ворон. Из всего сложного мира жизни большого города он выбирает себе только птиц и устремляется весь целиком только к ним.

Днем — птицы, а ночью — мыши, и так весь мир

у него: днем при свете черные узкие щелки его глаз, пересекающие мутный зеленый круг, видят только птиц, ночью открывается весь черный светящийся глаз и видит только мышей.

Сегодня радиаторы теплые, и оттого окно сильно запотело, и коту очень плохо стало галок считать. Так что же выдумал мой кот! Поднялся на задние лапы, передние на стекла и ну протирать, ну протирать! Когда же протер и стало яснее, то опять спокойно уселся, как фарфоровый, и опять, считая галок, принялся головой водить вверх, и вниз, и в стороны.

Днем — птицы, ночью — мыши, и это весь Васькин мир.







В КРАЮ ДЕДУШКИ МАЗАЯ



ДОМ НА КОЛЕСАХ

Устроить себе дом на колесах мне помог один журнал, с которым мы заключили такой договор: я буду писать о своем путешествии, а журнал мне за это поможет устроить дом на колесах. Вскоре после заключения договора мне прислали грузовик «ГАЗ»,

полуторатонку, и я стал обдумывать, как бы на этом грузовике устроить себе охотничий домик и уехать на нем в путешествие ранней весной и до глубокой осени.

После нескольких совещаний со столярами и плотниками я решил себе устроить нехитрый кузов из двойной фанеры.

Мастера мне скоро сделали такой домик с выдвижными щитами для окон: задвинешь щитки — и в домике делается полная тьма, необходимая мне для фотографических работ. Округлый верх домика мы покрыли еще хорошей клеенкой и весь домик окрасили в защитный зеленый цвет, чтобы можно было в лесах затаиваться и не пугать птиц и зверей.

Когда зеленый домик был готов и краска совершенно просохла, мы установили его на машину, боковинки ящика грузовика плотно прикрепили железными скобами к стенкам домика, и дом на колесах был готов... Но только окнами да крышей это было похоже на дом, остальное — машина, состоящая из двух частей: передней, моторной, и соединенной с ней тонкой переслежинкой огромной грузовой части. А еще больше, чем на машину, мой домик на колесах был похож на какое-то длинное, расчлененное зеленое насекомое.

Управление машиной мне было хорошо известно самому, и брать шофера было незачем. Мы уложили ружья, резиновые лодки, припасы, усадили собак и уехали в край дедушки Мазая. Этот край, описанный поэтом Некрасовым в поэме «Дедушка Мазай и зайцы», находится недалеко от города Костромы, и река там течет наша Волга. Скоро придет в этот край строительство «Большая

Волга», и все переменится, и весь край будет залит водой. Но сейчас, когда я приехал в него, все там было точь-в-точь как при Некрасове.

Ранней весной в половодье Волга до того переполняется водой, что ей уже некуда принимать в себя воду притоков. Напротив, лишняя вода из Волги выливается. Вот тогда все реки, текущие в Волгу, повертывают свою воду назад и текут обратно, и весь низменный край покрывается водой и становится похожим на море.

Когда прибывает вода, то, конечно, она сначала заливает места более низкие, и земля становится похожа на тело, покрытое бесчисленными глазками и жилками. А после, когда много прибудет воды, все превращается в море с бесчисленными островами. Мало-помалу и острова исчезают, и только самые высокие места не заливаются и остаются островами на все время разлива Волги. Вот на эти-то острова, покрытые лесом, со всех сторон сплываются звери: лоси, медведи, волки, лисицы, разные мышки, букашки, всякие зайчики, горностайчики... Тут есть на что посмотреть.

Мы приехали сюда еще по морозу и в ожидании весны поставили свой дом на колесах на самое возвышенное место.

Тут мы устроились лагерем.

Когда было холодно, мы согревали изнутри свой домик двумя керосинками, и спать было очень тепло. Когда же кончились морозы и разлилась вода, в небольшом домике спать можно было и без керосинки. А когда стали одеваться деревья, мы надули две наши резиновые лодки, над ними раскинули палатку и спали в этих лод-

ках, как на самых мягких и удобных кроватях. Когда же стало совсем тепло, всей гнусной силой своей напали на нас комары. Тогда мы опять забрались в наш дом на колесах. Осенью, когда комары стали пропадать, мы опять выбрались в палатку и жили в ней до зимы.

Каждый день я записывал свои наблюдения в природе. Некоторые страницы моего дневника, может, будут вам интересны.



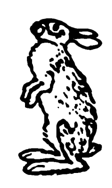
ДЕРЕВЬЯ В ПЛЕНУ

Весна сияла на небе, но лес еще по-зимнему был засыпан снегом. Были ли вы снежной зимой в молодом лесу? Конечно, не были: туда и войти невозможно. Там, где летом вы шли по широкой дорожке, теперь через эту дорожку в ту и другую сторону лежат согнутые деревья, и так низко, что только зайцу под ними и пробежать.

Вот что случилось с деревьями: березка вершинкой своей, как ладонью, забирала падающий снег, и такой от этого вырос ком, что вершинка стала гнуться. В оттепель падал опять снег и прилипал к тому кóму. Вершина с тем огромным комом все гнулась и наконец погрузилась

в снег и примерзла так до самой весны. Под этой аркой всю зиму проходили звери и люди изредка на лыжах.

Но я знаю одно простое волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке, самому не сгибая спины. Я выламываю себе хорошую увесистую палочку, и стоит мне только этой палочкой хорошенько стукнуть по склоненному дереву, как снег валится вниз, дерево прыгает вверх и уступает мне дорогу. Медленно так я иду и волшебным ударом освобождаю множество деревьев.



ЖАРКИЙ ЧАС

В полях тает, а в лесу еще снег лежит нетронутый плотными подушками на земле и на ветках деревьев, и деревья стоят в снежном плену. Тонкие стволики пригнулись к земле, примерзли и ждут с часу на час освобождения. Наконец приходит этот жаркий час, самый счастливый для неподвижных деревьев и страшный для зверей и птиц.

Пришел жаркий час, снег незаметно подтаивает, и вот в полной лесной тишине как будто сама собой шевельнется еловая веточка и закачается. А как раз под этой елкой, прикрытый ее широкими ветками, спит заяц. В страхе он встает и прислушивается: веточка не может же сама собой шевельнуться...

Зайцу страшно, а тут на глазах его другая, третья ветка шевельнулась и, освобожденная от снега, подпрыгнула. Заяц метнулся, побежал, опять сел столбиком и слушает: откуда беда, куда ему бежать?

И только стал на задние лапки, только оглянулся, как прыгнет вверх перед самым его носом, как выпрямится, как закачается целая береза, как махнет рядом ветка елки!

И пошло, и пошло: везде прыгают ветки, вырываясь из снежного плена, весь лес кругом шевелится, весь лес пошел.

И мечется обезумевший заяц, и встает всякий зверь, и птица улетает из леса.

СОСУЛЬКА

Наш домик на колесах завалило снегом. Весенний солнечный луч на крыше создал нечто вроде горного ледника, из-под которого, как в настоящем леднике, струилась вода рекой, и от этого ледник отступал. Тоненькая струйка с теплой крыши падает на холодную сосульку, висящую в тени на морозе. От этого вода, коснувшись сосульки, замерзает, и так сосулька этим утром росла сверху в толщину.

Когда солнце, обогнув крышу, заглянуло на сосульку, я тоже из окошка домика на нее взглянул: мороз исчез, и поток из ледника, сбежав по сосульке, стал падать золотыми каплями вниз.

Далеко еще до вечера стало морозить в тени, и хотя еще на крыше ледник все отступал и ручей струился по сосульке, все-таки некоторые капельки в конце сосульки стали примерзать, и чем дальше, тем больше. Сосулька к вечеру стала расти в длину. А на другой день опять солнце, и опять ледник отступает, и сосулька растет утром в толщину, а вечером в длину: каждый день все толще, все длиннее.

МУРАВЬИ

Я устал на охоте за лисицами, и мне захотелось где-нибудь отдохнуть. Но лес был завален глубоким снегом, и сесть было некуда. Случайно взгляд мой упал на дерево, вокруг которого расположился гигантский, засыпанный снегом муравейник. Я взбираюсь вверх, сбрасываю снег, разгребаю сверху этот удивительный муравьиный сбор из хвоинок, сучков, лесных соринок и сажусь в теплую ямку в муравейнике. Му-

равьи, конечно, об этом ничего не знают: они спят глубоко внизу.

Несколько повыше муравейника, где в этот раз я отдыхал, кто-то содрал с дерева кору, и белая древесина, довольно широкое кольцо, была покрыта густым слоем смолы. Колечко прекращало движение соков, и дерево неминуемо должно было погибнуть. Бывает, такие кольца на деревьях делает дятел, но он не может сделать так чисто.

Скорее всего, подумал я, кому-нибудь нужна была кора, чтобы сделать коробочку для сбора лесных ягод.

Отдохнув хорошо на муравейнике, я ушел и вернулся случайно к нему, когда стало совсем тепло и муравьи проснулись и поднялись наверх.

Я увидел на светлом пораненном смолистом кольце дерева какое-то темное пятно и вынул бинокль, чтобы рассмотреть подробней. Оказалось — это были муравьи: им зачем-то понадобилось пробиться через покрытую смолой древесину вверх.

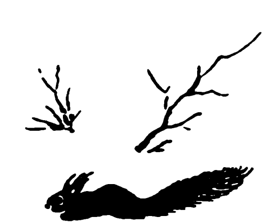
Нужно долго наблюдать, чтобы понять муравьиное дело; много раз я наблюдал в лесах, что муравьи постоянно бегают по дереву, к которому прислонен муравейник, только я не обращал на это внимания: велика ли штука муравей, чтобы разбираться настойчиво, куда и зачем он бежит или лезет по дереву! Но теперь оказалось, что не отдельным муравьям зачем-то, а всем муравьям необходима была эта свободная дорога вверх по стволу из нижнего этажа дерева, быть может, в самые высокие. Смолистое кольцо было препятствием, и это поставило на ноги весь муравейник.

В сегодняшний день в муравейнике была объявлена всеобщая мобилизация. Весь муравейник вылез вверх, и все государство, в полном составе, тяжелым шевелящимся пластом собралось вокруг осмоленного кольца.

Впереди шли муравьи-разведчики. Они пытались пробиться наверх и по одному застревали и погибали в смоле. Следующий разведчик пользовался трупом своего товарища, чтобы продвинуться вперед. В свою очередь, он делался мостом для следующего разведчика.

Наступление шло широким, развернутым строем, и на наших глазах белое кольцо темнело и покрывалось черным: это передние муравьи самоотверженно бросались в смолу и своими телами устилали путь для других.

Так в какие-нибудь полчаса муравьи зачернили смолистое кольцо и по этому бетону побежали свободно наверх по своим делам. Одна полоса муравьев бежала вверх, другая вниз, туда и сюда. И закипела работа по этому живому мосту, как по коре.



БЕЛИЧЬЯ ПАМЯТЬ

Сегодня, разглядывая на снегу следы зверушек и птиц, вот что я по этим следам прочитал: белка пробилась сквозь снег в мох, достала там с осени спрятанные два ореха, тут же их съела — я скор-

лупки нашел. Потом отбежала десяток метров, опять нырнула, опять оставила на снегу скорлупу и через несколько метров сделала третью полазку.

Что за чудо? Нельзя же подумать, чтобы она чуяла запах ореха через толстый слой снега и льда. Значит, помнила с осени о своих орехах и точное расстояние между ними.

Но самое удивительное — она не могла отмеривать, как мы, сантиметры, а прямо на глаз с точностью определяла, ныряла и доставала. Ну как было не позавидовать беличьей памяти и смекалке!

ЛЯГУШОНОК

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много три, и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгут. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки-прыгунки разлетелись в разные стороны.

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки, паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла

в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать. След вначале был прямой, лапка за лапкой, к ближайшему болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось, почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим — сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.

Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что лягушонок остановился, сунулся туда, сюда и круто повернул к теплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он все не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься. Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим

тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.



ОСТРОВ СПАСЕНИЯ

Недолго пришлось нам дожидаться разлива. В одну ночь после сильного, очень теплого дождя воды прибавилось сразу на метр, и отчего-то невидимый ранее город Кострома с белыми зданиями показался так отчетливо, будто раньше он был под водой и только теперь из-под нее вышел на свет. Тоже и горный берег Волги, раньше терявшийся в снежной белизне, теперь возвышался над водой, желтый от глины и песка. Несколько деревень на холмиках были кругом обойдены водой и торчали, как муравейники.

На великом разливе Волги там и тут виднелись копеечки незалитой земли, иногда голые, иногда с кустарником, иногда с высокими деревьями. Почти ко всем этим копеечкам жались утки разных пород, и на одной косе длинным рядом, один к одному, гляделись в воду гуси-

гуменники. Там, где земля была совсем затоплена и от бывшего леса торчали только вершинки, как частая шерсть, всюду эти шерстинки покрывались разными зверьками. Зверьки иногда сидели на ветках так густо, что обыкновенная какая-нибудь веточка ивы становилась похожа на гроздь черного крупного винограда.

Водяная крыса плыла к нам, наверно, очень издалека и, усталая, прислонилась к ольховой веточке. Легкое волнение воды пыталось оторвать крысу от ее пристани. Тогда она поднялась немного по стволу, села на развилочку.

Тут она прочно устроилась: вода не доставала ее. Только изредка большая волна, «девятый вал», касалась ее хвоста, и от этих прикосновений в воде рождались и уплывали кружочки.

А на довольно-таки большом дереве, стоящем, наверно, под водой на высоком пригорке, сидела жадная, голодная ворона и выискивала себе добычу. Невозможно бы ей было углядеть в развилочке водяную крысу, но на волне от соприкосновения с хвостом плыли кружочки, и вот эти-то кружочки и выдали вороне местопребывание крысы. Тут началась война не на живот, а на смерть.

Несколько раз от ударов клюва вороны крыса падала в воду, и опять взбиралась на свою развилочку, и опять падала. И вот совсем было уже удалось вороне схватить свою жертву, но крыса не желала стать жертвой вороны.

Собрав последние силы, так ущипнула ворону, что из нее пух полетел, и так сильно, будто ее дробью хватили.



Ворона даже чуть не упала в воду и только с трудом справилась, ошалелая села на свое дерево и стала усердно оправлять свои перья, по-своему залечивать раны. Время от времени от боли своей, вспоминая о крысе, она оглядывалась на нее с таким видом, словно сама себя спрашивала: «Что это за крыса такая? Будто так никогда со мной и не бывало!»

Между тем водяная крыса после счастливого своего удара вовсе даже и забыла думать о вороне. Она стала навастривать бисерок своих глазок на желанный наш берег.

Срезав себе веточку, она взяла ее передними лапками, как руками, и зубами стала грызть, а руками повертывать. Так она обглодала дочиста всю веточку и бросила ее в воду. Новую же срезанную веточку она не стала глодать, а прямо с ней спустилась вниз и поплыла и потащила веточку на буксире. Все это видела, конечно, хищная ворона и провожала храбрую крысу до самого нашего берега.

Однажды мы сидели у берега и наблюдали, как из воды выходили землеройки, полёвки, водяные крысы, и норки, и заюшки, и горностаюшки, и белки тоже сразу большой массой приплыли и все до одной держали хвостики вверх.

Каждую зверушку мы, как хозяева острова, встречали, принимали с родственным вниманием и, поглядев, пропускали бежать в то место, где полагается жить ее породе. Но напрасно мы думали, что знаем всех наших гостей. Новое знакомство началось словами Зиночки.

— Поглядите, — сказала она, — что же это делается с нашими утками!

Эти наши утки выведены от диких, и мы возили их для охоты: утки кричат и подманивают диких селезней на выстрел.

Глянули на этих уток и видим, что они отчего-то стали много темнее и, главное, много толще.

— Отчего это? — стали мы гадать, додумываться.

И пошли за ответом на загадку к самим уткам. Тогда оказалось, что для бесчисленного множества плывущих по воде в поисках спасения паучков, букашек и всяких насекомых наши утки были двумя островами, желанной сушей.

Они взбирались на плавающих уток в полной уверенности, что наконец-то достигли надежного пристанища и опасное странствование их по водам кончено. И так их было много, что утки наши толстели и толстели заметно у нас на глазах.

Так наш берег стал островом спасения для всех зверей — больших и маленьких.

ТРЯСОГУЗКА

Каждый день мы ждали любимую нашу вестницу весны — трясогузку, и вот наконец и она прилетела и села на дуб и долго сидела, и я понял, что это наша трясогузка, что тут она где-нибудь и жить будет. Я теперь легко узнаю, наша это птичка, будет ли она тут с нами вблизи где-нибудь жить все лето или полетит дальше, а тут села она лишь отдохнуть.

Вот скворец наш, когда прилетел, то нырнул прямо в свое дупло и запел, трясогузка же наша с прилету прибежала к нам под машину. Молодая наша собачка Сват стала прилаживаться, как бы ее обмануть и схватить.

С передним черным галстучком, в светло-сером, отлично натянутом платьице, живая, насмешливая, она проходила под самым носом Свата, делая вид, будто вовсе не замечает его. Вот он бросается на изящную птичку со всей своей собачьей страстью, но она отлично знает собачью природу и приготовлена к нападению. Она отлетает всего на несколько шагов.

Тогда он, вцеливаясь в нее, опять замирает. А трясогузка глядит прямо на него, раскачивается на своих тоненьких пружинистых ножках и только что не смеется вслух, только что не выговаривает:

«Да ты мне, милый, не сват, не брат».

И наступает иногда на Свата прямо рысцой.

Спокойная пожилая Лада, неподвижная, замирала,

как на стойке, и наблюдала игру; она не делала ни малейшей попытки вмешиваться. Игра продолжалась и час и больше. Лада следила спокойно, как и мы, за противниками. Когда птичка начинала наступать, Лада переводила свой зоркий глаз на Свата, стараясь понять, поймает он или же птичка опять покажет ему свой длинный хвост.

Еще забавнее было глядеть на птичку эту, всегда веселую, всегда дельную, когда снег с песчаного яра над рекой стал сползать. Трясогузка зачем-то бегала по песку возле самой воды. Пробежит и напишет на песке строчку своими тонкими лапками. Бежит назад, а строчка, глядишь, уже под водой. Тогда пишется новая строчка, и так почти непрерывно весь день: вода прибывает и хоронит написанное. Трудно узнать, каких жучков-паучков вылавливала наша трясогузка.

Когда вода стала убывать, песчаный берег снова открылся, на нем была целая рукопись, написанная лапкой трясогузки, но строчки были разной ширины, и вот почему: вода прибывала медленно — и строчки были чаще, вода быстрей — и строчки шире.

Так по этой записи трясогузкиной лапки на мокром песке крутого берега можно было понять, была ли эта весна дружная или движение воды ослаблялось морозами.

Очень мне хотелось снять аппаратом птичку-писателя за ее работой, но не удалось. Неустанно она работает и в то же время наблюдает меня скрытым глазом. Увидит — и пересаживается подальше без всякого перерыва в работе. Не удавалось мне снять ее и в сухих дровах,

сложенных на берегу, где она хотела устроить себе гнездышко. Вот однажды, когда мы за ней охотились безуспешно с фотоаппаратом, пришел один старичок, засмеялся, глядя на нас, и говорит:

— Эх вы, мальчики, птичку не понимаете!

И велел нам скрыться, присесть за нашим штабелем дров. Не прошло десяти секунд, как любопытная трясогузка прибежала узнать, куда мы делись. Она сидела сверху над нами в двух шагах и трясла своим хвостиком в величайшем изумлении.

— Любопытная она,— сказал старичок, и в этом была вся разгадка.

Мы проделали то же самое несколько раз, приладились, спугнули, присели, навели аппарат на одну веточку, выступающую из поленницы, и не ошиблись: птичка проскакала вдоль всей поленницы и села как раз на эту веточку, а мы ее сняли.

ГОСТИ

Сегодня с утра стали собираться к нам гости. Первая прибежала трясогузка, просто так, чтобы только на нас посмотреть. Прилетел к нам в гости журавль и сел на той стороне речки, в желтом болоте, среди кочек, и стал там разгуливать.

Еще скопа прилетела, рыбный хищник, нос крючком, глаза зоркие, светло-желтые, высматривала себе добычу сверху, останавливалась в воздухе для этого и пряла крыльями. Коршун с круглой выемкой на хвосте прилетел и парил высоко.

Прилетел болотный лунь, большой любитель птичьих яиц. Тогда все трясогузки помчались за ним, как комары. К трясогузкам вскоре присоединились вороны и множество птиц, стерегущих свои гнезда, где выводились птенцы. У громадного хищника был жалкий вид: этакая махина — и улепетывает от птичек во все лопатки.

Неустанно куковала в бору кукушка.

Цапля вымахнула из сухих старых тростников.

Болотная овсянка пикала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке.

Землеройка пискнула в старой листве.

И когда стало еще теплее, то листья черемухи, как птички с зелеными крылышками, тоже, как гости, прилетели и сели на голые веточки.

Ранняя ива распушилась, и к ней прилетела пчела, и шмель загудел, и первая бабочка сложила крылышки.

Гусь запускал свою длинную шею в заводь, доставал себе воду клювом, поплескивал водой на себя, почесывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружине, хвостом. А когда все вымыл, все вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, мокро сверкающий клюв и загоготал.

Гадюка просыхала на камне, свернувшись в колечко.

Лисица лохматая озабоченно мелькнула в тростниках.

И когда мы сняли палатку, в которой у нас была кухня, то на место палатки прилетели овсянки и стали что-то клевать. И это были сегодня наши последние гости.

ЛОСИ

Как-то вечером к нашему костру пришел дед из ближайшей деревни и стал нам рассказывать о лосях разные охотничьи истории.

— Да какие они, лоси-то? — спросил кто-то из нас.

— Хорошенькие, — ответил дед.

— Ну, какие же они хорошенькие! — сказал я. — Огромные, а ножки тонкие, голова носатая, рога — как лопаты. Скорее — безобразные.

— Очень хорошенькие, — настаивает дед.— Раз было, по убылой воде, вижу, лосиха плывет с двумя лосятками. А я за кустом. Хотел было бить в нее из ружья, да подумал: деться ей некуда, пусть выходит на берег. Ну вот, она плывет, а дети за ней не поспевают, а возле берега мелко: она идет по грязи, а они тонут, отстали. Мне стало забавно. Возьму-ка, думаю, покажусь ей: что, убежит она или не кинет детей?

— Да ведь ты же убить ее хотел?

— Вот вспомнил! — удивился дед. — Я в то время забыл, все забыл, только одно помню: убежит она от

детей или то же и у них, как у нас. Ну, как вы думаете?

— Думаю, — сказал я, вспоминая разные случаи, — она отбежит к лесу и оттуда, из-за деревьев или с холма, будет наблюдать или дожидаться.

— Нет, — перебил меня дед. — Оказалось, у них, как и у нас. Мать так яро на меня поглядела, а я на нее острогой махнул. Думал — убежит, а лосенков я себе захвачу. А ей хоть бы что — и прямо на меня идет и яро глядит. Лосята еще вытаскивают ножонки из грязи. И что же вы подумаете? Что они делать стали, когда вышли на берег?

— Мать сосать?

— Нет, как вышли на берег — прямо играть. Шагов я на пять подъехал к ним на ботничке, и гляжу, и гляжу — чисто дети. Один был особенно хорош. Долго играли, а когда наигрались, то к матке, и она их повела, и пошли они покойно, пошли и пошли...

— И ты их не тронул?

— Так вот и забыл, как все равно мне руки связали. А в руке острога. Стоило бы только двинуть рукой...

— Студень-то какой! — сказал я.

Дед с уважением поглядел на меня и ответил:

— Студень из лосенков правда хорош. Только уж такие они хорошенькие... Забыл и про студень!

РАЗГОВОР ДЕРЕВЬЕВ

Почки раскрываются, шоколадные, с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит большая прозрачная капля.

Возьмешь одну почку, разотрешь между пальцами, и потом долго все пахнет тебе ароматной смолой березы, тополя или черемухи.

Понюхаешь черемуховую почку и сразу вспомнишь, как, бывало, забирался наверх по дереву за ягодами, блестящими, чернолаковыми. Ел их горстями прямо с косточками, но ничего от этого, кроме хорошего, не бывало.

Вечер теплый, и такая тишина, словно должно что-то в такой тишине случиться. И вот начинают шептаться между собой деревья: береза белая с другой березой белой издали перекликаются; осинка молодая вышла на поляну, как зеленая свечка, и зовет к себе такую же зеленую свечку-осинку, помахивая веточкой; черемуха черемухе подает ветку с раскрытыми почками.

Если с нами сравнить — мы звуками перекликаемся, а у них — аромат.

ЗАПОЗДАЛЫЙ РУЧЕЙ

В лесу тепло. Зеленеет трава: такая яркая среди серых кустов! Какие тропинки! Какая задумчивость, тишина!

Кукушка начала первого мая и теперь осмелела. Бормочет тетерев и на вечерней заре.

Звезды, как вербочки, распухают в прозрачных облаках. В темноте белеют березки. Растут сморчки. Осины выбросили червячки свои серые.

Весенний ручей запоздал, не успел совсем сбежать и теперь струится по зеленой траве, и в ручей капает сок из поломанной ветки березы.

БЕРЕЗОВЫЙ СОК

Вот теперь больше не нужно резать березку, чтобы узнать, началось ли движение сока. Лягушки прыгают — значит, и сок есть в березе. Тонет нога в земле, как в снегу, — есть сок в березе. Зяблики поют, жаворонки и все певчие дрозды и скворцы, — есть сок в березе.

Мысли мои старые все разбежались, как лед на реке, — есть сок в березе.

ПЕРВЫЙ ЦВЕТОК

Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. Думал, в глазах это порябило, а это показался первый цветок.

КАК РАСПУСКАЮТСЯ РАЗНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Листики липы выходят сморщенные и висят, а над ними розовыми рожками торчат заключавшие их створки почек.

Дуб сурово развертывается, утверждая свой лист, пусть маленький, но и в самом младенчестве своем какой-то дубовый.

Осинка начинается не в зеленой краске, а в коричневой, в самом младенчестве своем монетками, и качается.

Клен распускается желтый, ладонки листа, сжатые смущенно и крупно, висят подарками.

Сосны открывают будущее тесно сжатыми смолисто-желтыми пальчиками. Когда пальчики разожмутся и вытянутся вверх, то станут совершенно как свечи.

БЕЛОЛАПКИ

Молодые елочки маленькие дают прирост лапками светло-зелеными, в сравнении с основной темной зеленью ели почти белыми.

На эти лапки у совсем крошечных елок смешно смотреть, так же, как на лапищи маленьких щенят.

До того хорош бобрик частых еловых самосевов, что хочется его погладить ладонью.

ЛИПА И ДУБ

Липа и дуб в наших подмосковных лесах часто встречаются вместе, как будто ищут друг друга. Весной липа первая зеленеет и как бы вызывает, чтоб и дуб с нею зеленел. Но долго дуб не поддается, и даже когда начнет сам зеленеть, вокруг становится холодно.

С утра чуть-чуть захмылилось и ветер шалит. Но все обошлось, день загорелся, все вокруг зазеленело, и черный дальний хвойный лес от зелени белых берез поседел.

Орех распускается. Зеленые птички величиной в шляпку обойного гвоздика во множестве, но все-таки редко-

вато расселились по тонким веточкам и остались с распростертыми крылышками.

— Летите, летите! — беспокоит их ветер.

Но листики еще не понимают тревоги, не знают забот: как сели, так и сидят, невинные и удивленные.

Дуб не верит цветам земным и небесным, зеленеющим дорожкам, золотым сережкам ореха и всему, что называется весной. Еще весной света на белом снегу он оставлял свою голубую тень. Теперь внизу вытаяла его старая листва, и на ней лежала темная тень его корявого скелета. Да, он просто не верил весне!

И много еще совершится чудес в природе, пока зеленая трава и цветы выбьются из-под старой листвы и в цветах ликующей весны старик свою тень похоронит и начнет сам распускаться. Тогда в нашем климате природа труд распусканья дуба берет на себя и от этого сама холодеет.

— Что-то холодно! — говорят наши друзья.

И другие им отвечают:

— Это дуб распускается!

ЖИВОЕ ДЕРЕВО

У нас молодые грачи облюбовали одно дерево и стали орать. Прилетели старые с червяками, и когда грачиха садилась, ветка от тяжести

опускалась, а когда улетала, ветка поднималась и грачонок качался, как в люльке.

И вся эта ель от множества невидимых птиц шевелила своими ветками, вся, как живая.

Молодые сейчас в таком положении, что могли бы вполне летать и сами кормиться, но еще опыта нет. И большие вполне грачи, только носы не белые, а черные, и сидят хорошо укрытые в глубине елки, а родители таскают им весь день пищу.

Самое трудное время родителям!

Мать прилетает, затыкает ему рот червяком, и он не сразу, а давясь, затихает.

ЛАСТОЧКА

Паводок, почти как весной, все лавы снесены давно, и некоторые береговые кусты корзиночной ивы стали островами. На одном таком островке ласточка усадила своих питомцев, чтобы никто не мешал их кормить. И люди вокруг стояли, маленькие и большие.

Маленькие тужили, что никак их не достанешь, а старшие дивились уму ласточки: нашла же место — все видят, а тронуть не могут.



КРАСНЫЕ ШИШКИ

В солнечное летнее утро вхожу я в лес.

— Здравствуйте, знакомые елочки! Как поживаете, что нового?

И они отвечают по-своему, что все благополучно, что за это время молодые красные шишки дошли до половины настоящей величины.

И это правда, это можно проверить: старые, бурые, пустые, висят рядом с молодыми, красными, на деревьях; можно сосчитать, и выйдет как раз половина.

ЭТАЖИ ЛЕСА

У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи: мышки живут в корнях — в самом низу; разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле; дрозды — еще повыше, на кустарниках; дупляные птицы — дятел, синички, совы — еще повыше; на разной высоте по стволу дерева и на самом верху селятся хищники: ястреба и орлы.

Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них, зверушек и птиц, с этажами не как у нас в небоскребах: у нас всегда можно с кем-нибудь перемениться, у них каждая порода живет непременно в своем этаже.

Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут.

Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет и все дерево падает, у березы же кора не падает; эта смолистая, белая снаружи кора — береста — бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое.

Даже когда и сгниет дерево и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая. Но сто́ит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и падает. Валить такие деревья — занятие очень веселое, но и опасное: куском дерева, если не увернешься, может здорово хватить тебя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся и когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.

Так пришли мы к полянке с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая, в воздухе она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые пенышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка.



Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им перекусить, они ели, глотали и опять пищали.

Очень скоро прилетели родители, гаечки-синички, с белыми пухлыми щечками и с червячками во ртах, сели на рядом стоящих деревьях.

— Здравствуйте, дорогие, — сказали мы им, — вышло несчастье: мы этого не хотели.

Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети.

Нас они нисколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге.

— Да вот же они! — показывали мы им гнездо на земле. — Вот они, прислушайтесь, как они пищат, как зовут вас!

Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спуститься вниз и выйти за пределы своего этажа.

— А может быть, — сказали мы друг другу, — они нас боятся. Давай спрячемся! — И спрятались.

Нет! Птенцы пищали, родители пищали, порхали, но вниз не спускались.

Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах, они не могут перемениться этажами: им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез.

— Ой-ой-ой, — сказал мой спутник, — ну какие же вы дурачки!..

Жалко стало и смешно: такие славные и с крылышками, а понять ничего не хотят.

Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили верх соседней березы и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на какой находился разрушенный этаж. Нам недолго пришлось ждать в засаде: через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.

РЕКА

Лес берегами как руками развел — и вышла река.

В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые и цветы возле них разные.

УТРЕННЯЯ РОСА

Встал рано, вскоре после восхода солнца, но было, как будто кто-то заботливый и добрый встал еще раньше меня и перед самым восходом солнца полил всю землю и все цветы и листья теплым дождем.

На малине одна большая капля дрожала, и на солнце в ней вспыхивало так, что слепило глаза; но может быть,

это не капля дрожала, а само солнце между клочками рассеянной тучи то выглянет, то спрячется, а кажется, будто это капля дрожит.

КОЛОКОЛЬЧИКИ

Какой день! И сказать нечего: все в такой день само собой говорит!

Только вот в больших синих колокольчиках впервые заметил внутри белые язычки, такие большие и заметные, что, кажется, взял бы за язык и принялся звонить на всю вырубку, на весь лес и во весь июль.

МЕДУНИЦА И МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Сквозь можжевельник корявый и неопрятный проросла роскошная красавица медуница и на свету расцвела. Можно было подумать, что это сам можжевельник расцвел!

Иные прохожие так и думали, очень дивились, говорили:

— Бывает же так — такой неопрятный, такой корявый, а в цветах лучше всех в это время. Бывает же так!

— Бывает, бывает! — отвечали басами шмели на медунице.

Сам можжевельник, конечно, молчал.



ЖИВАЯ НОЧЬ

Стало быстро теплеть, пришли тучи летние, грянул первый гром, и лягушки, все, какие только были в лужах, заволновались так сильно, что от них заволновалась вода...

После того как пролил теплый дождь, Петя занялся рыбой: он поставил в торфяном пруду сети на карасей и место, где были у него сети, заметил по маленьким березам; там на берегу около сетей стояло десять маленьких, в рост человека, березок. Веточки их еще были голые, без листьев.

Солнце садилось пухлое, и, когда село, началась живая ночь: пели все соловьи, все лягушки орали... Но так часто на свете бывает, что, когда всем хорошо, бедному человеку приходит в голову бедная мысль и не дает

ему радоваться. Пете тоже не спалось, и вот пришло ему в голову, что пришли воры и унесли сети. Вот почему Петя на рассвете бежит к своим сетям и уже издали видит, что там, где он сети поставил, теперь стоят люди — верно, воры.

В ужасной злобе бежит он туда и вдруг останавливается, улыбается, ему стыдно: это не люди — это за ночь те десять березок оделись в зелень и будто люди стоят...

Когда же он вынул свою первую сеть, в ней было шестьдесят три карася.

ЩУКА

Мы поставили на ночь в реке ставные сети и вытащили наутро щуку. Она так запуталась в сетях, что стояла в воде неподвижная, как сук. И вот мы видим — лягушка села на нее и так присосалась, что мы долго не могли ее оторвать от щуки даже палкой. Щука была живая.

Это сильный, страшный хищник, но достаточно было ей остановиться в своем движении, и самая маленькая лягушка не боялась ей на спину сесть.



ОКОЛО ГНЕЗДА

Сарыч, когда низко летит над лесом, никогда в это время почему-то не свистит, как обыкновенно, а кряхтит. Этот звук у него, наверно, связан с кормлением детей, это он приближается к своему гнезду.

Почти каждая птица, появляясь с червем в носу, несмотря на это, пищит. Сегодня я наблюдал, как гаечка, не выпуская червяка, присела на сучок отдохнуть и почесала в одно мгновенье о сучок попеременно обе щеки.

Рябчики выпорхнули и расселись по елкам и березкам, маленькие, с воробья, а уже отлично лётные и сторожкие, совсем как большие. Мать близко сидит на березе, очень сдержанно и глухо дает им знать о себе, и когда издает звук, хвостик у нее покачивается.

ДЯТЕЛ

Видел дятла: короткий — хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелушенья шишек. Пробежал

вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит отработанная и несброшенная шишка и новую шишку некуда девать. И — горе какое! — нечем сбросить старую: клюв-то занят.

Тогда дятел, совсем как человек бы сделал, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую поместил в свою мастерскую и заработал.

Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой.

БЕРЕСТЯНАЯ ТРУБОЧКА

Я нашел удивительную берестяную трубочку. Когда человек вырежет себе кусок бересты на березе, остальная береста около пореза начинает свертываться в трубочку. Трубочка высохнет, туго свернется. Их бывает на березах так много, что и внимания не обращаешь.

Но сегодня мне захотелось посмотреть, нет ли чего в такой трубочке.

И вот в первой же трубочке я нашел хороший орех,

так плотно прихваченный, что с трудом удалось палочкой его вытолкнуть.

Вокруг березы не было орешника. Как же он туда попал?

«Наверно, белка его туда спрятала, делая зимние свои запасы, — подумал я. — Она знала, что трубка будет все плотнее и плотнее свертываться и все крепче прихватывать орех, чтоб не выпал».

Но после я догадался, что это не белка, а птица ореховка воткнула орех, может быть украв из гнезда белки.

Разглядывая свою берестяную трубочку, я сделал еще одно открытие: под прикрытием ореха поселился — кто бы мог подумать? — паучишко и всю внутренность трубочки затянул своей паутинкой.

ВЕРХОПЛАВКИ

На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. Темно-синие стрекозы в тростниках и елочках хвоща. И у каждой стрекозы есть своя хвощевая елочка или тростинка: слетит и на нее непременно возвращается.

Очумелые вороны вывели птенцов и теперь сидят, отдыхают.

Листик, самый маленький, на паутинке спустился к реке и вот крутится, вот-то крутится...

Так я еду тихо вниз по реке на своей лодочке, а лодочка у меня чуть потяжелее этого листика, сложена из пятидесяти двух палочек и обтянута парусиной. Весло к ней одно: длинная палка и на концах по лопаточке. Каждую лопаточку окунаешь попеременно с той и другой стороны. Такая легкая лодочка, что не нужно никакого усилия: тронул воду лопаточкой — и она плывет, и до того неслышно плывет, что рыбки ничуть не боятся. Чего-чего только не увидишь, когда тихо едешь на такой лодочке по реке!

Вот грач, перелетая над рекой, капнул в воду, и эта известково-белая капля, тукнув по воде, сразу же привлекла внимание мелких рыбок верхоплавок. В один миг вокруг грачиной капли собрался из верхоплавок настоящий базар. Заметив это сборище, крупный хищник — рыба шелеспер — подплыл и хвать своим хвостом по воде с такой силой, что оглушенные верхоплавки перевернулись вверх животами. Они бы через минуту ожили, но шелеспер не дурак какой-нибудь: он знает, что не так-то часто случается, чтоб грач капнул и столько дурочек собралось вокруг одной капли; хвать одну, хвать другую — много поел, а какие успели убраться, впредь будут жить как ученые, и если сверху им капнет что-нибудь хорошее, будут в оба глядеть, не пришло бы им снизу чего-нибудь скверного.

БАРСУЧЬИ НОРЫ

Оттого лес называется темным, что солнце смотрит в него сквозь вершины деревьев, как в оконце, но не все в лесу увидит.

Так, нельзя ему увидеть барсучьи норы и возле них хорошо утрамбованную песчаную площадку, где катаются молодые барсучата.

Нор тут нарыто барсуками множество. Зачем же им столько нор? А все из-за лисы, которая любит селиться в готовых квартирках и неопрятностью своею выживает хозяев — барсуков.

Уйти бы барсукам на новое место, подальше от непрошеной гостьи. Но место замечательное, переменить не хочется: песчаный холм, со всех сторон овраги, и все такой чащей заросло, что солнце смотрит и ничего увидеть не может в свое оконце. Вот и роют барсуки новые норки.

ЛЕСНОЙ ШАТЕР

Столетние усилия дерева сделали свое: верхние ветки свои эта ель вынесла к свету, но нижние ветки-детки, сколько ни тащила их наверх матушка, остались внизу, сложились шатром, поросли зеле-

ными бородами, и под этим непроницаемым для дождя и света шатром поселился...

Кто там поселился?

Мы возвращались с охоты мимо этой елки. Лада что-то почуяла внутри дерева и стала. Мы думали: выскочит или вылетит?

— Наверно, вылетит тетерев, — шепнул Петя.

И стал смотреть вверх.

— А я думаю, — шепнул я, — заяц выбежит.

И стал смотреть вниз.

Лада стояла.

— Вперед! — приказал я.

Но она вперед не шла. И это значило, что дальше нельзя двигаться, что зверь или птица сидит тут же, за первой еловой лапкой.

— Я ударю ногой по этой лапке, — сказал Петя, — а ты стреляй.

«Выскочит или вылетит?» — думал я.

И перекидывал глаза то вниз, то вверх.

Петя ударил по лапке ногой — ничего не выбежало и ничего не вылетело, но зашипело и затукало, как маленький мотоцикл.

Лада ткнулась и заорала: она себе наколола нос о колючки ежа.

Так ничего не выбежало и не вылетело: это был ёж.

НАШ ЛАГЕРЬ

Так мы стояли на месте лагерем. Но земля двигалась — вертелась к солнцу той и другой стороной. От этого дни сменяли ночи, и поутру мы встречали золотые деньки, а после дня наступали ночи, и вечером мы провожали солнышко за лесной стеной.

Земля вертелась и мчалась вокруг солнца, а от этого нам было сначала, будто мы из холодной северной страны едем на юг — так наша зима сменилась весной, а весна — летом.

Потом из теплой страны, нашего лета, мы поехали в холодную — наступила осень. И, когда стала зима, мы вернулись в Москву.

ФИЛИН

Ночью злой хищник филин охотится, днем прячется. Говорят, будто днем он плохо видит и оттого прячется. А по-моему, если бы он и хорошо видел, все равно ему бы днем нельзя было никуда пока-

заться — до того своими ночными разбоями нажил он себе много врагов.

Однажды я шел опушкой леса. Моя небольшая охотничья собачка, породою спаниель, а по прозвищу Сват, что-то причуяла в большой куче хвороста. Долго с лаем бегал он вокруг кучи, не решаясь подлезть под нее.

— Брось! — приказал я. — Это ёж.

Так у меня собачка приучена: скажу «ёж», и Сват бросает.

Но в этот раз Сват не послушался и с ожесточением бросился на кучу и ухитрился подлезть под нее.

«Наверно, ёж», — подумал я.

И вдруг с другой стороны кучи, под которую подлез Сват, из-под нее выбегает на свет филин, ушастый и огромных размеров и с огромными кошачьими глазами.

Филин на свету — это огромное событие в птичьем мире. Бывало, в детстве приходилось попадать в темную комнату — чего-чего там не покажется в темных углах, и больше всего я боялся черта. Конечно, это глупости, и никакого черта нет для человека. Но у птиц, по-моему, черт есть — это их ночной разбойник филин. И когда филин выскочил из-под кучи, то это было для птиц все равно, как если бы у вас на свету черт показался.

Единственная ворона была, пролетала, когда филин, согнувшись, в ужасе перебегал из-под кучи под ближайшую елку. Ворона увидела разбойника, села на вершину этой елки и крикнула совсем особенным голосом:

— Кра!



До чего это удивительно у ворон! Сколько слов нужно человеку, а у них одно только «кра» — на все случаи, и в каждом случае это словечко всего только в три буквы благодаря разным оттенкам звука означает разное. В этом случае воронье «кра» означало, как если бы мы в ужасе крикнули:

— Чер-р-р-р-рт!

Страшное слово прежде всего услыхали ближайшие вороны и, услыхав, повторили, и более отдаленные, услыхав, тоже повторили, и так в один миг несметная стая, целая туча ворон с криком: «Черт!» — прилетела и облепила высокую елку с верхнего сучка и до нижнего.

Услыхав переполох в вороньем мире, тоже со всех сторон прилетели галки черные с белыми глазами, сойки бурые с голубыми крыльями, ярко-желтые, почти золотые иволги. Места всем не хватило на елке, много соседних деревьев покрылось птицами, и всё новые и новые прибывали: синички, гаечки, московки, трясогузки, пеночки, зорянки и разные подкрапивнички.

В это время Сват, не понимая, что филин давно уже выскочил из-под кучи и прошмыгнул под елку, все там орал и копался под кучей. Вороны и все другие птицы глядели на кучу, все они ждали Свата, чтобы он выскочил и выгнал филина из-под елки.

Но Сват все возился, и нетерпеливые вороны кричали ему слово:

— Кра!

В этом случае это означало просто:

— Дурак!

И наконец, когда Сват причуял свежий след и выле-

тел из-под кучи и, быстро разобравшись в следах, направился к елке, все вороны в один общий голос опять крикнули по-нашему:

— Кра!

А по-ихнему это значило:

— Правильно!

И когда филин выбежал из-под елки и стал на крыло, опять вороны крикнули:

— Кра!

И это теперь значило:

— Брать!

Все вороны поднялись с дерева, вслед за воронами все галки, сойки, иволги, дрозды, вертишейки, трясогузки, щеглы, синички, гаечки, московочки, и все эти птицы помчались темной тучей за филином и все орали одно только:

— Брать, брать, брать!

Я забыл сказать, что, когда филин становился на крыло, Сват успел-таки вцепиться зубами в хвост, но филин рванулся, и Сват остался с филиновыми перьями и пухом в зубах.

Озлобленный неудачей, он помчался полем за филином и первое время бежал, не отставая от птиц.

— Правильно, правильно! — кричали ему некоторые вороны.

И так вся туча птиц скоро скрылась на горизонте, и Сват тоже исчез за перелеском. Чем все кончилось, не знаю.

Сват вернулся ко мне только через час с филиновым пухом во рту.

И ничего не могу сказать, тот ли это пух у него остался, который взял он, когда филин на крыло становился, или же птицы доконали филина и Сват помогал им в расправе со злодеем.

Что не видал, то не видал, а врать не хочу.

СТАРЫЙ ДЕД

У старого огромного пня я сел прямо на землю, пень внутри — совершенная труха, только эту труху держит твердая крайняя древесина. А из трухи выросла березка и распустилась. И множество цветущих трав поднимается с земли к этому огромному пню, как к любимому деду...

На самом пне, на одном только светлом солнечном пятнышке, на горячем месте, я сосчитал десять кузнечиков, две ящерицы, шесть больших мух, две жужелицы. Вокруг высокие папоротники собрались, как гости. А когда в гостиную у старого пня ворвется самое нежное дыханье ветра, один папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости обменяются мыслями.

И снова тишина.

ЦВЕТУЩИЕ ТРАВЫ

Как рожь на полях, так в лугах тоже зацвели все злаки, и когда злачинку покачивало насекомое, она окутывалась пыльцой, как золотым облаком.

Все травы цветут, и даже подорожник. Какая трава подорожник, — а тоже весь в белых бусинках. Раковые шейки, медуницы, всякие колоски, пуговки, шишечки на тонких стебельках приветствуют нас.

Сколько их прошло, пока мы столько лет жили, и не узнать: кажется, все те же шейки, колоски, старые друзья.

Здравствуйте, милые, здравствуйте!

ПЕНЬ-МУРАВЕЙНИК

Гуляя сегодня с Зиночкой по лесу, мы набрели на старый пень, весь покрытый, как швейцарский сыр, дырочками. Пень казался очень прочным, и Зиночка моя уселась на него отдохнуть. Только села — перегородки между дырочками под ее тяжестью разрушились, и пень под ней осел, как подушка.

— Скорей вставай! — закричал я.

Когда Зиночка вскочила, мы увидали, как из каждой дырочки пня выползло множество муравьев: ноздреватый пень оказался сплошным муравейником и только сохранил обличие пня.

ИМЕНИНЫ ОСИНКИ

Шиповник, наверно, с весны еще пробрался внутрь по стволу к молодой осинке, и вот теперь, когда время пришло осинке справлять свои именины, вся она вспыхнула красными благоухающими дикими розами. Гудят пчелы и осы. Басят шмели. Все летят поздравлять осинку и на этих больших именинах роски попить и домой медку захватить.

СИЛАЧ

Муравьи разрыхлили землю, сверху она поросла брусникой, а под ягодой зародился гриб. Мало-помалу, напирая своей упругой шляпкой, он поднял вверх над собой целый свод с брусникой и сам, совершенно белый, показался на свет.

СТАРЫЙ СКВОРЕЦ

Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню в хорошее росистое утро прилетает старый скворец и поет.

Вот странно! Казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела птенцов, детеныши выросли и улетели... Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?

ЗЕМЛЕРОЙКА

Мы ходим с тобою в лесу, — сказал я Зиночке, — а может быть, под каждым шагом нашим в земле живет один или два зверька.

— Давай выроем ямку и увидим, кто в ней живет, — предложила Зиночка.

— Зверек убежит от нас подземным ходом, прежде чем мы его обнаружим, — ответил я. — А вот лучше давай выроем канавку с отвесными стенками, уж кто-нибудь

ночью в нее попадет, а если он маленький, то, может, из нашей канавки и не вылезет.

Мы так и сделали.

И вот утром нашли в нашей канавке маленькое животное, величиною с наперсток, — землеройку. Мехом своим похожа на крота: мех ровный, гладкий, с синеватым отливом. На мышь совсем не похожа, рыльце хоботком, страшно живая.

Посадили в банку — прыгает высоко. Дали ей червя — сразу съела, будто век свой в банке жила.

Мы слышали, что прямой солнечный луч убивает землеройку — она ведь подземный житель. Вот и задумали мы испытать, правда ли это, а потом взвесить ее, смерить, исследовать внутренности, положить потом в муравейник. Муравьи быстро очистят скелет, а мы его изучим.

Потом задумали поймать крота и посадить вместе с землеройкой в банку.

Да мало ли чего мы еще задумали!

Но в это время землеройка подпрыгнула на двенадцать сантиметров в высоту, перепрыгнула через край банки и очутилась на земле.

А земля ей — что рыбе вода: землеройка мгновенно исчезла.

Долго этот исчезнувший крохотный зверек не отпускал нашу мысль на свободу и все ее держал под землей, где живут корни деревьев и между корнями всякие неведомые нам существа.

ПОЛЯНКА В ЛЕСУ

Березки последнее свое золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я иду по лесной тропе, и осенний лес мне становится как море, а полянка в лесу — как остров.

На этом острове стоит тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть.

У этих елок, оказывается, вся жизнь вверху. Там в богатстве шишек хозяйствует белка, птицы клесты и, наверно, еще много неизвестных мне существ. Внизу же, под елями, мрачно, черно, и только видишь, как летит шелуха: это белка и клесты шелушат еловые шишки и достают себе из них вкусные семечки. Из такого семечка выросла когда-то и та высокая ель, под которой я сейчас сижу.

Это семечко занес когда-то ветер, и оно упало под березой между ее обнаженными корнями.

Елочка стала расти, а береза прикрывала ее от ожогов солнца и морозов.

Теперь эта ель обогнала березу и стоит рядом с ней, вершинка к вершинке, со сплетенными корнями.

Тихо я сижу под елкой на середине лесной поляны. Слышу, как шепчутся, падая, осенние листики.

Этот шелест падающих листьев будит спящих под деревьями зайцев, они встают и уходят куда-то из леса.

Вот один такой вышел из густых елок и остановился, увидев большую полянку.

Слушает заяц, встал на задние лапки, огляделся: везде шелест, куда идти?

Не посмел идти прямо через поляну, а пошел вокруг всей поляны, от березки к березке.

Кто боится чего-то в лесу, тот лучше не ходи, пока падают листы и шепчутся.

Слушает заяц, и все ему кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадется.

Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тогда как бы ему не попасть в настоящую беду: под шум листьев за ним лисица крадется; не оглянется храбрый заяц на шелест, а тут тебя под шумок и схватит рыжая кумушка.

ОСЕННЯЯ РОСКА

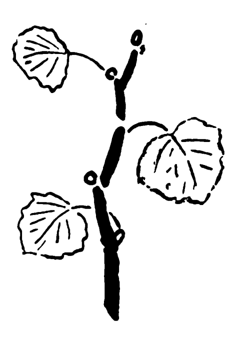
Заосеняло. Мухи стучат в потолок. Воробьи табунятся. Грачи собирают упавшие зерна на убранных полях. Сороки семьями пасутся на дорогах. Росы по утрам холодные, серые.

Иная росинка в пазухе листа весь день просверкает.

ОСИНКАМ ХОЛОДНО

В солнечный день осенью на опушке леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там в лесу стало холодно и они вышли погреться на солнышко, на опушку.

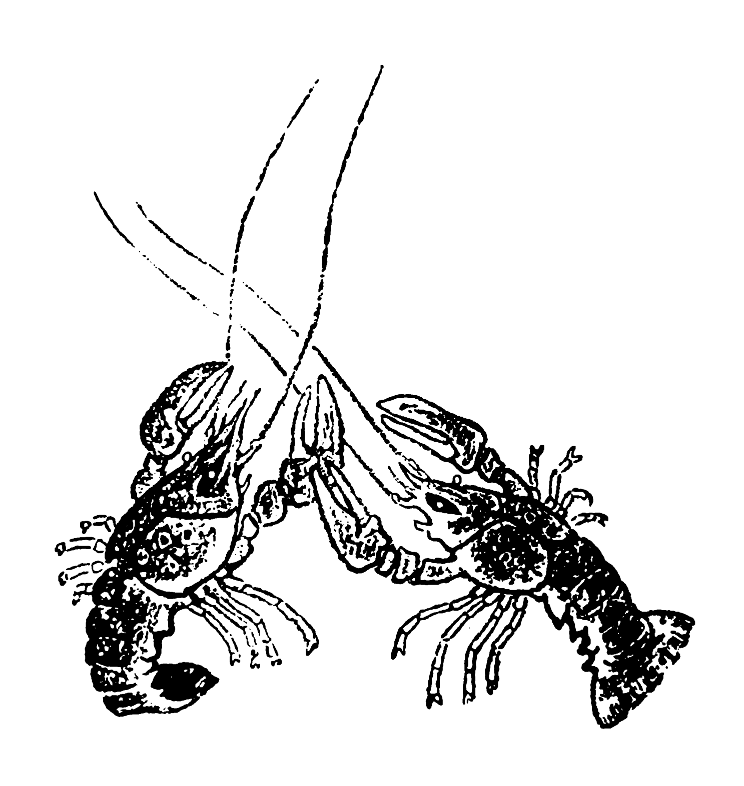
Так иногда в деревнях выходят люди посидеть на завалинке, отдохнуть, поговорить после трудового дня.




EP



О ЧЕМ ШЕПЧУТСЯ РАКИ



О ЧЕМ ШЕПЧУТСЯ РАКИ

Удивляюсь на раков — до чего много, кажется, напутано у них лишнего: сколько ног, какие усы, какие клешни, и ходит хвостом наперед, и хвост называется шейкой. Но всего более дивило меня в детстве, что когда раков соберут в ведро, то они между собой начинают шептаться. Вот шепчутся, вот шепчутся, а о чем, не поймешь.

И когда скажут: «Раки перешептались», это значит — они умерли и вся их рачья жизнь в шепот ушла.

В нашей речке Вертушинке раньше, в мое время, раков было больше, чем рыбы. И вот однажды бабушка Домна Ивановна с внучкой своей Зиночкой собрались к нам на Вертушинку за раками. Бабушка с внучкой пришли к нам вечером, отдохнули немного — и на реку. Там они расставили свои рачьи сеточки. Эти рачьи сачки у нас все делают сами: загибается ивовый прутик кружком, кружок обтягивается сеткой от старого невода, на сетку кладется кусочек мяса или чего-нибудь, а лучше всего кусочек жареной и духовитой для раков лягушки. Сеточки опускают на дно. Учуяв запах жареной лягушки, раки вылезают из береговых печур, ползут на сетки. Время от времени сачки за веревки вытаскивают кверху, снимают раков и опять опускают.

Простая эта штука. Всю ночь бабушка с внучкой вытаскивали раков, наловили целую большую корзину и утром собрались назад, за десять верст к себе в деревню. Солнышко взошло, бабушка с внучкой идут, распарились, разморились.

Им уже теперь не до раков, только бы добраться домой.

— Не перешептались бы раки, — сказала бабушка.

Зиночка прислушалась.

Раки в корзинке шептались за спиной бабушки.

— О чем они шепчутся? — спросила Зиночка.

— Перед смертью, внученька, друг с другом прощаются.

А раки в это время совсем не шептались. Они только

терлись друг о друга шершавыми костяными бочка́ми, клешнями, усиками, шейками, и от этого людям казалось, будто от них шепот идет. Не умирать раки собирались, а жить хотели. Каждый рак все свои ножки пускал в дело, чтобы хоть где-нибудь найти дырочку, и дырочка нашлась в корзинке, как раз чтобы самому крупному раку пролезть. Один рак вылез крупный, за ним более мелкие шутя выбрались, и пошло, и пошло: из корзинки — на бабушкину кацавейку, с кацавейки — на юбку, с юбки — на дорожку, с дорожки — в траву, а из травы — рукой подать речка.

Солнце палит и палит. Бабушка с внучкой идут и идут, а раки ползут и ползут. Вот подходят Домна Ивановна с Зиночкой к деревне. Вдруг бабушка остановилась, слушает, что́ в корзинке у раков делается, и ничего не слышит. А что корзинка-то легкая стала, ей и невдомек: не спавши ночь, до того уходилась старуха, что и плеч не чует.

— Раки-то, внученька, — сказала бабушка, — должно быть, перешептались.

— Померли? — спросила девочка.

— Уснули, — ответила бабушка, — не шепчутся больше.

Пришли к избе, сняла бабушка корзинку, подняла тряпку:

— Батюшки родимые, да где же раки-то?

Зиночка заглянула — корзина пустая.

Поглядела бабушка на внучку — и только руками развела.

— Вот они, раки-то, — сказала она, — шептались! Я думала — они это друг с другом перед смертью, а они это с нами, дураками, прощались.

ДЕДУШКИН ВАЛЕНОК

Хорошо помню — дед Михей в своих валенках проходил лет десять. А сколько лет в них он до меня ходил, сказать не могу. Поглядит, бывало, себе на ноги и скажет:

— Валенки опять проходились, надо подшить.

И принесет с базара кусок войлока, вырежет из него подошву, подошьет, и опять валенки идут, как новенькие.

Так много лет прошло, и стал я думать, что на свете все имеет конец, все умирает и только одни дедушкины валенки вечные.

Случилось, у деда началась сильная ломота в ногах. Никогда дед у нас не хворал, а тут стал жаловаться, позвал даже фельдшера.

— Это у тебя от холодной воды,— сказал фельдшер,— тебе надо бросить рыбу ловить.

— Я только и живу рыбой, — ответил дед, — ногу в воде мне нельзя не мочить.

— Нельзя не мочить, — посоветовал фельдшер, — надевай, когда в воду лезешь, валенки.

Этот совет вышел деду на пользу: ломота в ногах

прошла. Но только после дед избаловался, в реку стал лазить только в валенках и, конечно, тер их беспощадно о придонные камешки. Сильно подались от этого валенки, и не только в подошвах, а и выше, на месте изгиба подошвы, показались трещинки.

«Верно, это правда, — подумал я, — что всему на свете конец бывает, не могут и валенки деду служить без конца: валенкам приходит конец».

Люди стали деду указывать на валенки:

— Пора, дед, валенкам твоим дать покой, пора их отдать воронам на гнезда.

Не тут-то было! Дед Михей, чтобы снег в трещинки не забивался, окунул их в воду — и на мороз. Конечно, на морозе вода в трещинках валенка замерзла и лед заделал трещинки. А дед после того валенки еще раз окунул в воду, и весь валенок от этого покрылся льдом. Вот какие валенки после этого стали теплые и прочные: мне самому в дедушкиных валенках приходилось незамерзающее болото зимой переходить, и хоть бы что.

И я опять вернулся к той мысли, что, пожалуй, дедушкиным валенкам никогда и не будет конца.

Но случилось, однажды дед наш захворал. Когда пришлось ему по нужде выйти, надел в сенях валенки, а когда вернулся, забыл их снять в сенях и оставить на холоду. Так в обледенелых валенках и залез на горячую печку.

Не то, конечно, беда, что вода от растаявших валенок с печки натекла в ведро с молоком, — это что! А вот беда, что валенки бессмертные в этот раз кончились. Да иначе и быть не могло. Если налить в бутылку воды и

поставить на мороз, вода обратится в лед, льду будет тесно, и бутылку он разорвет. Так и этот лед в трещинках валенка, конечно, шерсть везде разрыхлил и порвал, и когда все растаяло, все стало трухой...

Наш упрямый дед, как только поправился, попробовал валенки еще раз заморозить и походил даже немного, но вскоре весна пришла, валенки в сенцах растаяли и вдруг расползлись.

— Верно, правда, — сказал дед в сердцах, — пришла пора отдыхать в вороньих гнездах.

И в сердцах швырнул валенок с высокого берега в репейник, где я в то время ловил щеглов и разных птичек.

— Почему же валенки только воронам? — сказал я.— Всякая птичка весною тащит в гнездо шерстинку, пушинку, соломинку.

Я спросил об этом деда как раз в то время, как он замахнулся было вторым валенком.

— Всяким птичкам,— согласился дед,— нужна шерсть на гнездо — и зверькам всяким, мышкам, белочкам, всем это нужно, для всех полезная вещь.

И тут вспомнил дед про нашего охотника, что давно ему охотник напоминал о валенках: пора, мол, их отдать ему на пыжи. И второй валенок не стал швырять и велел мне отнести его охотнику.

Тут вскоре началась птичья пора. Вниз к реке на репейники полетели всякие весенние птички и, поклевывая головки репейников, обратили свое внимание на валенок. Каждая птичка его заметила, и когда пришла пора вить гнезда, с утра до ночи стали разбирать на клочки дедушкин валенок. За одну какую-то неделю весь валенок по

клочку растащили птички на гнезда, устроились, сели на яйца и высиживали, а самцы пели.

На тепле валенка вывелись и выросли птички и, когда стало холодно, тучами улетели в теплые края. Весною они опять вернутся, и многие в дуплах своих, в старых гнездах найдут опять остатки дедушкина валенка. Те же гнездышки, что на земле были сделаны и на кустах, тоже не пропадут: с кустов все лягут на землю, а на земле их мышки найдут и растащат остатки валенка на свои подземные гнезда.

Много в моей жизни походил я по лесам и, когда приходилось найти птичье гнездышко с подстилом из войлока, думал, как маленький:

«Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки вечные».



МЕДВЕДЬ

Многие думают, будто пойти только в лес, где много медведей, и так они вот и набросятся, и съедят тебя, и останутся от козлика ножки да рожки. Такая это неправда!

Медведи, как и всякий зверь, ходят по лесу с великой осторожностью и, зачуяв человека, так удирают от него, что не только всего зверя, а не увидишь даже и мелькнувшего хвостика.

Однажды на севере мне указали место, где много медведей. Это место было в верховьях реки Коды, впадающей в Пинегу. Убивать медведя мне вовсе не хотелось, и охотиться за ним было не время: охотятся зимой, я же пришел на Коду ранней весной, когда медведи уже вышли из берлог.

Мне очень хотелось застать медведя за едой, где-нибудь на полянке, или на рыбной ловле на берегу реки, или на отдыхе. Имея на всякий случай оружие, я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери, затаивался возле теплых следов; не раз мне казалось, будто мне даже и пахло медведем... Но самого медведя, сколько я ни ходил, встретить мне в тот раз так и не удалось.

Случилось, наконец, терпение мое кончилось, и время пришло мне уезжать. Я направился к тому месту, где была у меня спрятана лодка и продовольствие. Вдруг вижу: большая еловая лапка передо мной дрогнула и закачалась сама.

«Зверушка какая-нибудь», — подумал я.

Забрав свои мешки, сел я в лодку и поплыл.

А как раз против места, где я сел в лодку, на том берегу, очень крутом и высоком, в маленькой избушке жил один промысловый охотник. Через какой-нибудь час или два этот охотник поехал на своей лодке вниз по Коде, нагнал меня и застал в той избушке на полпути, где все останавливаются.

Он-то вот и рассказал мне, что со своего берега видел медведя, как он вымахнул из тайги как раз против того места, откуда я вышел к своей лодке. Тут-то вот я и

вспомнил, как при полном безветрии закачались впереди меня еловые лапки.

Досадно мне стало на себя, что я подшумел медведя. Но охотник мне еще рассказал, что медведь не только ускользнул от моего глаза, но еще и надо мной посмеялся... Он, оказывается, очень недалеко от меня отбежал, спрятался за выворотень и оттуда, стоя на задних лапах, наблюдал меня: и как я вышел из леса, и как садился в лодку и поплыл. А после, когда я для него закрылся, влез на дерево и долго следил за мной, как я спускаюсь по Коде.

— Так долго, — сказал охотник, — что мне надоело смотреть и я ушел чай пить в избушку.

Досадно мне было, что медведь надо мной посмеялся. Но еще досадней бывает, когда болтуны разные пугают детей лесными зверями и так представляют их, что покажись будто бы только в лес без оружия — и они оставят от тебя только рожки да ножки.

ТАИНСТВЕННЫЙ ЯЩИК

В Сибири, в местности, где водится очень много волков, я спросил одного охотника, имеющего большую награду за партизанскую войну:

— Бывают ли у вас случаи, чтобы волки нападали на человека.

— Бывают, — ответил он. — Да что из этого? У чело-

века оружие, человек — сила, а что волк! Собака, и больше ничего.

— Однако, если эта собака да на безоружного человека...

— И то ничего, — засмеялся партизан. — У человека самое сильное оружие — ум, находчивость и в особенности такая оборотливость, чтобы из всякой вещи сделать себе оружие. Раз было, один охотник простой ящик превратил в оружие.

Партизан рассказал случай из очень опасной охоты на волков с поросенком. Лунной ночью сели в сани четыре охотника и захватили с собой ящик с поросенком. Ящик был большой, сшитый из полутеса. В этот ящик без крышки посадили поросенка и поехали в степь, где волков великое множество. А было это зимой, когда волки голодные. Вот охотники выехали в поле и начали поросенка тянуть кто за ухо, кто за ногу, кто за хвост. Поросенок от этого стал визжать: больше тянут — больше визжит, и все звонче и звонче, и на всю степь. Со всех сторон на этот поросячий визг стали собираться волчьи стаи и настигать охотничьи сани. Когда волки приблизились, вдруг лошадь их почуяла — и как хватит! Так и полетел из саней ящик с поросенком, и, самое скверное, вывалился один охотник без ружья и даже без шапки.

Часть волков умчалась за взбешенной лошадью, другая же часть набросилась на поросенка, и в один миг от него ничего не осталось. Когда же эти волки, закусив поросенком, захотели приступить к безоружному человеку, вдруг глядят, а человек этот исчез и на дороге только ящик один лежит вверх дном. Вот пришли волки



к ящику и видят: ящик-то не простой — ящик движется с дороги к обочине и с обочины в глубокий снег. Пошли волки осторожно за ящиком, и как только этот ящик попал на глубокий снег, на глазах волков он стал нижеть и нижеть.

Волки оробели, но, постояв, оправились и со всех сторон ящик окружили. Стоят волки и думают, а ящик все ниже да ниже. Ближе волки подходят, а ящик не дремлет: ниже да ниже. Думают волки: «Что за диво? Так будем дожидаться — ящик и вовсе под снег уйдет».

Старший волк осмелился, подошел к ящику, приставил нос свой к щелке...

И только он свой волчий нос приставил к этой щелке, как дунет на него из щелки! Сразу все волки бросились в сторону, какой куда попал, и тут же вскоре охотники вернулись на помощь, и человек живой и здоровый вышел из ящика.

— Вот и все, — сказал партизан. — А вы говорите, что безоружному нельзя против волков выходить. На то и ум у человека, чтобы он из всего мог себе делать защиту.

— Позволь, — сказал я, — ты мне сейчас сказал, что человек из-под ящика чем-то дунул.

— Чем дунул? — засмеялся партизан. — А словом своим человеческим дунул, и они разбежались.

— Какое же это слово такое он знал против волков?

— Обыкновенное слово, — сказал партизан. — Какие слова говорят в таких случаях: «Дураки вы, волки», сказал, — и больше ничего.

БАРСУКИ

Поехали зимой колхозники в луга за сеном, пошевельнули вилами стог, а в нем барсук зимовал.

На другой день ребята решили идти бить барсуков. Пустили в нору собаку. Барсучиха выбежала. Увидели ребята, что барсучиха тихо бегает, что можно догнать, не стали стрелять и бросились все за ней. Догнали. Что делать? Ружья побросали у нор, палок в руках нет, голыми руками взять боязно. А между тем барсучиха нашла себе новый ход под землю и скрылась.

Собака вытащила гнездо и барсучонка: порядочный, с хорошего щенка.

ЩЕГОЛ-ТУРЛУКАН

В Сокольниках, под Москвой, живет один мой приятель — зовут его Петр Петрович Майорников, — большой любитель и первый в Москве ценитель маленьких певчих птиц. Из окна у него проведена вере-

вочка в сад, к понцам — сетке для лова. Почти на каждом дереве в саду висит клетка с какой-нибудь певчей птицей. И так уж всегда у птиц: если какая-нибудь пролетает над садом, птичка в клетке непременно ей голос подаст, и та сядет на дерево. В это время Петр Петрович открывает окно, берется за веревочку и, когда прилетевшая птица станет клевать рассыпанные между понцами семечки, дернет за веревку. От этого понцы — две натянутые на рамы сетки — схлопываются и закрывают, как ладони, птичку. Пойманную птичку Петр Петрович сажает в клетку и выслушивает, хорошо ли она поет; хороших оставляет себе или продает таким же любителям, плохих выпускает. Мы с вами, не зная этого дела, ничего не поймем ни в пении птиц, ни даже о чем говорят между собой птицеловы — у них и язык свой. Если вы хотите с этим познакомиться, то пойдите на птичий базар.

Раз я был на таком птичьем базаре и услыхал, как из-за бочки насвистывает кто-то разными коленцами и в птичьих лавочках насвистыванию отвечают подобные голоса. Скоро я понял, что за бочкой не на один голос, а на голоса разных птиц кто-то насвистывает. Заглянув туда, я увидел своего приятеля Петра Петровича Майорникова.

— Что вы тут делаете? — спросил я.

— Птиц выслушиваю, — сказал Петр Петрович.— Кажется, есть недурной чиж.

И засвистел чижом.

В лавочках похоже ответили.

— Так и есть! — обрадовался Петр Петрович. — Как он овсянку стегнул!

Проверили еще раз, и чиж действительно спел одно коленце подобно птичке овсянке.

Мы пошли, купили чижа, и оказалось — он не только был с овсянкой, но еще и с копейкой [1] на голове.

— Конечно, — сказал Петр Петрович, — бывают чижи и получше...

— Какой же тот, самый-то лучший? — спросил я.

— Самый лучший чиж, — сказал Петр Петрович, — бывает с овсянкой и с двумя копейками, но и то не самый первый.

— А первый?

— Тот должен быть и с овсянкой, и с двумя копейками, и еще с касаткой.

Мы пересмотрели, переслушали разных птиц: были тут клесты, кривоносы, лубоносы, снегири, юрки, зяблики, овсянки, реполовы, синицы, глушки, московки... Но среди всех этих птиц не хватало любимого мной щегла, птички, изумительной по красоте своего оперения. Один торговец предложил было нам плохонького щегла и назвал его турлуканом.

Петр Петрович засмеялся:

— Слышал, брат, ты звон, а лучше никому не говори.

— Отчего?

— Оттого, что у твоего щегла лысинка на голове велика, с такой лысинкой не может быть турлукана.

— Как так?

---

[1] С круглым (в копейку) пятнышком.

— Очень просто, — сказал Петр Петрович, — настоящий турлукан у нас тут есть только один, он у меня в руках был, да я собственноручно ему хвост оторвал...

Вокруг нас собрались охотники и стали упрашивать Петра Петровича рассказать, как он оторвал хвост турлукану.

— Бейте меня, — начал свой рассказ Петр Петрович, — бейте, кто хочет, я того заслужил: да, я собственной рукой оторвал хвост турлукану. Конечно, вы знаете, не мной это начато, это у всех охотников водится — рвать негодным певцам хвосты, чтобы знать потом и больше его не ловить, и не кормить, и людей не обманывать. Но чтобы турлукану хвост вырвать — за это надо бить и бить... Прошлой осенью я наловил себе двадцать девять щеглов, рассадил их по разным клеткам, кормлю, ухаживаю, выслушиваю, и нет мне за это ничего: до солнцеворота ни один даже не пикнул. Потом скоро и свету прибавилось и в полднях капель началась — тут уж непременно бы должны птицы начинать, а они всё молчат.

И вот уже и снег подтаивает — слышу, легонько обыкновенное «щибить-бить», и то без всякой заркости[1]. Раз показалось, будто один из них пик-пикнул синицу, но как потом ни слушал, не повторилось. И так у меня за всю зиму не только турлуканья не было, но даже ни один из двадцати девяти не циперекнул. Весь я издержался на корм птицам, вижу — ничего больше не остается делать, как только рвать хвосты и выпускать на волю. Выхожу я за этим делом в сад, день самый лучший весенний, и стало мне жалко немного рвать птицам хвосты,

[1] Зáркость — в птичьем пении это значит звонко, ярко.



но очень уж я на них досадовал, и не хотелось тоже, чтобы другие охотники ловили их и расходовались или бы обманывали других. И вот оборвал я первому хвост. Он полетел, сел сначала на мою грушу, обобрался, обчистился и летит в сад к соседу, а сосед мой, такой же щеглятник, как и я, Ваня-Шапочка, камнем гонит его дальше, потому что по хвосту видит — щегол был в руках. Так и другой, и третий, и все двадцать восемь бесхвостых разлетелись. Наконец, вырываю последнему, двадцать девятому, и вот видите ли что... вот как только он сел на мою грушу, обчистился, оправился да как запоет!

Дух у меня захватило. Стою, как истукан. Он и турлуканит, и трещит, и циперекает, а как из-под ципереканья турлукана пустит! Тут у меня коленки затряслись, из-под пяток дрожь по ногам побежала, выше и выше, по животу, и вдруг изо рта вроде как бы сельтерской водой шибануло. Сыграл все двенадцать колен, под конец еще пить-пикнул синицу и смолк. Сидит, молчит, я на него смотрю, а он помолчал, помолчал да как хватит на заркость «щибить-бить!». Со всех сторон, вижу, слетаются мои бесхвостые. Собрав всех своих друзей, турлукан ударил в последний раз «щибить-бить», и вся стая махнула в сад к Ване-Шапочке. Тот, видно, не слыхал турлукана — бац камнем в бесхвостых, и все улетели.

Прыг я тогда через забор к Ване-Шапочке, кричу:

— Бей меня! Бей подлеца!

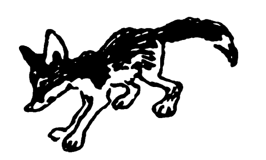
Он сначала было подумал — с ума сошел, а потом, когда я все рассказал, темный весь сделался и спрашивает:

— Зачем же тебе нужно было рвать хвосты всем подряд?

— Но ты же не понимаешь, Ваня... — бормочу я.

И так сурово отвечает мне Ваня-Шапочка:

— Нет, брат, не понимаю я тебя и всех вас, таких безжалостных охотников. Я о каждой птице отдельно думаю и никогда не рву хвосты и особенно чтобы всем подряд. Безжалостные вы охотники: оборвете хвосты всем подряд, а после оказывается, что среди бесхвостых есть турлукан!..



ЗВЕРИ

Маленького слепого лисенка вынули из норы, дали воспитывать молочной кошке, и она любила его, и он ласкался к ней, как к родной матери.

В лукошке окотилась кошка, котят забросили, другая вскоре окотилась в том же лукошке — оставили одного. Тогда обе кошки одного котенка стали кормить: родная уйдет — лезет в лукошко чужая. И не только волк, даже тигр будет с величайшей нежностью заглядывать в глаза, если человек вы́ходит его и с малых лет станет ему вместо матери.

Несправедливо бранятся зверем. Хуже нет, когда скажут: «Вот настоящий зверь». А между тем у зверей этих хранится бездонный запас любви и нежности.

ЗНАКОМЫЙ БЕКАС

Бекас — это болотная птичка, серая, величиной в два воробья. Нос длинный, в полкарандаша. Этим носом бекас в грязи достает себе червячков.

Мясо у бекаса до того вкусное, что у охотников бекас — любимая птица.

Жил у нас под городом бекас. Охотники ходили к его гнезду учить молодых собак. Почует собака бекаса далеко и вся вытянется и стоит и смотрит туда, где бекас сидит. Охотник, конечно, не видит бекаса, но по собаке знает, где он. Скажет: «Вперед», — и собака тихонечко подводит охотника к птице. Еще скажет охотник: «Вперед», — собака сгонит бекаса, и охотник стреляет в летящего.

На лету бекас виляет в разные стороны — очень трудно попасть.

Вот еще и потому, что трудно попасть, любят охотники бекасиную охоту.

Нашего бекаса под городом мы всё берегли и гнездышко его охраняли: на его гнезде мы учили собак. Однажды подвела меня собака к его гнезду. Бекас улетел за пищей, а в гнезде лежали яички, четыре штуки, и рядом с яичками лежал футлярчик от пенсне.

По этому футлярчику я догадался: это, наверно, мой знакомый учил здесь собаку и тоже, как я, заглянул бекасу в гнездо.

Встретив его сегодня на улице, я передал ему футлярчик.



КУНИЦА-МЕДОВКА

Понадобилась мне однажды на кадушку черемуха, пошел я в лес. В тридцать первом квартале нашел я черемуху, и с ней рядом стояла елка. Вокруг этой елки были птичьи косточки, перья, беличий мех, шерстка. Тогда я глянул наверх и увидел бурак, и на бураке сидит куница с птичкой в зубах.

Летнее время, мех дешевый, она мне не надобна. Я ей говорю:

— Ну, барыня, стало быть, ты тут живешь с семейством.

От моих слов куница мызгнула на другое дерево и сгинула. Я же полез наверх, поглядел на гнездо и прочитал всю подлость кунью. Бурак был поставлен для диких пчел и забыт. Прилетел рой, устроился, натаскал меду и зимою уснул. Пришла куница, прогрызла внизу дырку, мороз пожал пчел сверху, а снизу мед стала поедать куница. Когда мороз добрался до пчел и заморозил их, куница доела мед и улей бросила.

Летом явилась белка, облюбовала улей на гнездо.

Осенью мох вытаскала, все вычистила и устроилась жить.

Тут опять куница пришла, съела белку и стала жить в ее теплом гнезде барыней и завела семейство. А после пчел, белки, куницы я пришел.

В гнезде оказались четыре молодых. Поклал я молодежь в фартук, принес домой, посадил в погреб. Дня через два поднялся из погреба тяжелый дух от куниц, и женщины все на меня. Стало невыносимо в избе от куньего меха. А в саду у меня был амбарчик. Я заделал в нем все дырки и перенес туда куниц. Все лето хожу за ними, стреляю птичек, и они весело их едят.

У молодых куниц характер не злобный; из-за еды дерутся, а спят вместе клубочком.

Раз ночью разломали недруги мой амбарчик. Я ничего не слыхал. Утром приходит мой сосед:

— Иди, Михайлыч, скорей: твои куницы на яблоне.

Выбежал я, а куницы с яблони на поленницу, с поленницы под застрех, через ворота — и в лес. Так все и пропали.

Пришла зима, навалило снегу. Оказались следы: тут же в лесу, рядом с деревней, и жили. Трех я скоро убил и продал по двадцать рублей за шкурку, а четвертую, верно, воры украли, когда ломали сарай.

СИНИЙ ЛАПОТЬ

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо

смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч, в отличие от всех охотников, зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой

кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай, — сказали мы Родионычу.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он, — сказал Родионыч уверенно. — Становитесь на места, ребятушки, он тут. Готовы?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил!

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало: он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе. Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.



— Гляди, — шепчет он, — синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка и еще две маленькие точки — черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова.

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба, — что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками? Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновенье все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч.

Охотники еще раз успели хватить по кустам.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних

кустах мелькнул хвостик; этот хвостик охотники почему-то всегда называют цветком.

Синий лапоть охотникам из далеких кустов только своим «цветком» помахал.

КЛЮКВА

Егерь Кирсан умел так рассказывать, что поначалу кажется, будто это у него все правда, и только под самый конец поймешь, правду он говорит или дурачит нас. Так вот он стал рассказывать нам однажды, какая это кислая ягода клюква.

— Кто же этого не знает, Кирсан Николаевич? — сказал ему на это кто-то из нас.

— Я не про это, — ответил Кирсан. — Кто же, правда, не знает, что ягода клюква кислая? На то ведь она и есть клюква! А вот однажды мне пришла в голову мысль, и летом я жену попросил, чтобы она и на мою долю клюквы побольше собрала в болоте. Прошло лето, и осень прошла; лег снег. Негде стало кормиться тетеревам. Завалило ягоду в болоте снегом, занесло в поле зерно. Делать нечего, поднялись тетерева на березы и стали кормиться древесными почками. А после ягоды, после зерна какая же это пища — березовая почка? Вот я подумал об этом и поставил под березами шалашик. Когда тетерева при-

гляделись к шалашику и перестали на него обращать внимание, забрался я рано поутру в него и на снегу раскидал клюкву. Вот прилетели тетерева, расселись по березам, клюют горькие почки, а внизу, видят, клюква красная на белом снегу. Один петух слетел, осторожно подходит. Что делать? Ружье мое длинное — чуть шевельнешься, догадается и сам улетит, и все улетят. Скажите, что бы вы на моем месте сделали?

— Что сделали? — сказал один охотник. — Я бы дал первому поклевать...

Другой охотник еще что-то сказал, третий еще, заспорили. А Кирсан все сидел и молча улыбался.

— Ну, скажи, Кирсан Николаевич, — обратились мы наконец к самому хозяину, — расскажи, как же ты поступил.

— Я поступил просто, — ответил Кирсан. — Когда петух взял клюквину в рот, стало ему после березовых почек очень кисло; он от кислого зажмурился, и тут я в него из ружья.

Смеялись мы, но другой егерь, Камолов, сказал:

— На этот раз у тебя сорвалось, Кирсан Николаевич, не сумел ты соврать. Это сказка есть о трех зайцах, что охотник им клюквы дал, они зажмурились, и он их связал, без ружья обошелся. А ты с ружьем — эка невидаль!

НАШ САД

(Рассказы старого садовника)

Было это очень давно, еще в царское время и даже не при последнем царе. Мы жили тогда в небольшом рыжем домике — три окошка на улицу и позади сад. В нашем небольшом городке в каждом домике было: окна на улицу, в пыль, а позади сады, разделенные заборами. Так было всюду в старое время, и сама Москва ничем не отличалась от провинции. В наше старое время было правило, что впереди — для всех — пыльная улица, а позади дома сад — для себя.

Было как-то раз, приходит однажды в наш домик на Дворянской улице мужичок средних лет в синей блузе. Волосы у него были русые, долгие, глаза голубые, острая бородка.

— Здравствуйте, добрые люди! — сказал мужичок. — Хлеб да соль!

— Милости просим! — ответила мать.

За спиной у гостя была сумка, в правой руке палка-писанка самодельная, в левой оказалось самое главное: ящик с красками.

— Я художник, — сказал он матери. — Нельзя ли у вас остановиться на все лето?

— Рада бы, — ответила вежливо мать, — да поглядите сами: тесно, куда я вас дену?

— Баня у вас в саду свободная, — сказал художник, — я бы жил в ней, а когда плоды поспеют, я бы сад караулил.

А это такая правда была о карауле: бывало, как только плоды начинают поспевать, у нас по всему городу воры зубы на яблоки точат, прямо настоящая война начинается; хозяева даже и спят в садах с ружьями.

Возможно ли было нашей бедной матушке с малыми детьми охранять сад от разбойников? Конечно, сад был с плодами не каждый год. Но как раз в этот год, когда пришел к нам художник, яблоки и груши завязались с большой силой, и урожай ожидался большой. Вот почему предложение художника очень понравилось матери, и она ему так сказала:

— Я вдовой осталась с кучей маленьких детей, мне очень трудно сад караулить. Я бы, конечно, и очень рада была вас пустить в баню, да только мне совестно: вы же не знаете, какая эта баня внутри — не баня, а завалюшка, мы больше в ней и не моемся, и сколько в ней мусору!

— Крыша еще не разъехалась? — спросил художник.

— Единственно только крыша, кажется, и ничего: даже не каплет, — ответила мать.

— Не каплет? — повторил художник. — А что еще нужно? Мусор же, какой бы он ни был и сколько бы его ни было, я уберу и мешать вам ничем не буду: обед буду варить себе сам.

Мать, конечно, обрадовалась такому жильцу и пустила художника в баню.

И как же нам с Сережей понравился этот художник! Может быть, это детство наше так сказывается, но, мне кажется, во всей своей долгой жизни я не встречал таких добрых людей. Он с того начал в саду, что возле самой бани вырыл глубокую яму и велел нам таскать в нее

всякий хлам из бани: обломки кирпичей, гнилушки, железки, тряпки, ведра без дна. Набралась целая яма всякой такой дряни. После того мы яму со всех сторон засыпали землей, утоптали, и баня стала чистая.

Мать пришла поглядеть, принесла белые тряпочки, столик, постелила, похвалила нашу работу и позвала художника обедать.

— Сделайте милость, — ответил художник, — никогда меня не зовите и ничего больше для меня, пожалуйста, не делайте: у меня такой принцип, чтобы делать все, по возможности, самому и людей своею особой не затруднять, особенно людей таких хороших, как вы. Я и так не знаю, как вас благодарить за сад. Как хорошо он зарос, какая тишина: ни один листик не шевельнется.

— Да, — ответила мать, — погода стоит прекрасная. Только старайтесь ничем не задевать соседа: у нас с ним спор постоянный, почти что война. И только все из-за одного дерева. Вышло так, что почти половина веток с дерева свешивается через забор и груши падают на его сторону. Мы, однако, не из-за того с ним спорим: что пало, то и пропало для нас, то пусть и будет его. Спорим мы с ним из-за того, что он всякими способами нахально помогает грушам падать на его сторону. «Дерево, — говорю я, — стоит у меня — мое дерево, и плоды мои». — «Не все дерево стоит на вашей земле, — отвечает он, — у вас только корень, а ветки мои; у вас оно только стоит, а меня оно любит». Так ведь мало того, что трясет на свою сторону с тех веток, — еще и длинным шестом с гвоздиком достает груши и с нашей стороны. В чем-нибудь он непременно и к вам придерется и вас достанет

своим проклятым шестом. Это очень дурной человек, и недаром ему дали такое прозвище...

Мать не посмела выговорить прозвище соседа.

— А я очень люблю эти народные прозвища, — сказал художник. — Если можно, то, пожалуйста, скажите.

Мать ответила:

— Впрочем, ничего особенного. Его все в нашем городе называют Проглотом.

Вот теперь подходит рассказ мой к тому самому, из-за чего я на всю жизнь определился садовником и люблю садовое дело больше всякого и могу по-настоящему делать только сады. Скорее всего, думаю, любовь эта моя к саду пришла мне от художника, это он, наверно, обратил глаза мои навсегда в ту сторону. Все лето он писал наш запущенный сад, и как это у него выходило чудесно, я до сих пор никак понять не могу. Начинает он писать какой-нибудь листик или веточку, грушу или яблоко, — просто похоже, и больше ничего. После того, за этой обыкновенной грушей или яблоком, пишет не так уж явственно, зато более привлекательно: глядишь — и тянет тебя не к этому первому, а куда-то подальше. С каждым шагом в этом саду на картине тебя тянет все сильней и сильней вдаль. Кажется, будто кто-то взял тебя за руку и уводит; чем дальше, тем становится все лучше и лучше, и плоды разные умоляют тебя их попробовать...

Слышал не раз я, что сны такие бывают, но сны-то ведь проходят, а картина, сделанная художником, остается. Я и теперь, на старости лет, в руке держу ведро с коровьим жидким навозом, обмазываю яблоньки, а сам вижу тот незабываемый сад, без противных старых за-

боров. Картину сделал художник, — так почему я не могу сделать такой сад? Вот из-за этого я и стал на всю жизнь садовником.

Наш жилец хорошо выполнял свое обещание стеречь сад. Он всегда ставил свой мольберт против той груши, что стояла в нашем саду, а ветками любила соседа. На мольберт он ставил свой большой холст на подрамнике, и сосед никак не мог видеть, что же именно делает художник.

День проходит за днем, и разбирает соседа любопытство, а может быть, и досада: если так художник все лето будет торчать, закрываясь холстом, как же тогда воровать наши груши?

И вот однажды Проглот не выдержал, подзывает нас с Сережей и спрашивает:

— Что он там делает?

Мы ответили:

— Художник пишет груши.

Так прошло сколько-то времени, груши начали желтеть. Проглот опять нас подзывает:

— Что он сейчас пишет?

Мы отвечаем:

— Художник пишет груши.

Проглот разозлился:

— Всё одни только груши и пишет?

— Зачем одни: раньше писал зеленые, а теперь пишет желтые. Как они вкусны, спелые, желтые груши! Поди-ка их съешь!

И показали ему языки. Он рассердился и кинул в нас палкой, но не попал. Мы же ему эту палку — обратно,

и ему пришлось прямо по шее. Художник расхохотался, а Проглот всем нам кулак показал и крикнул:

— Вот вы дождетесь, скоро я всем вам покажу кузькину мать!

Ну и, конечно, показал нам, и вот как это было.

Обед готовил себе художник всегда сам, и, видно, в этой заботе он находил себе отдых от работы. Мы же ему с базара всё приносили: гречневую крупу, масло, чай, сахар, лук, селедки, огурцы, рыбу. Что скажет, то и принесем.

Было раз так, что художник сел за обед, и кот чей-то, желтый, тигровый, роскошный, приходит и тоже садится за стол рядом с художником.

— Здравствуйте! — приветствовал его художник.

Поласкал его, а кот поднял хвост и запел.

Долго любовался художник котом, и даже мы с Сережей, маленькие люди, поняли, как бедному художнику трудно жить одному, если он коту этому, как милому другу, обрадовался.

И что же, подумайте! На другой день, точно в тот час и минуту, кот является к обеду. День за днем проходит, и кот не пропускает ни одного обеда. Мало того! Как-то раз после обеда кот идет за художником на место работы, трется щекой о мольберт.

Художник и говорит ему:

— Перебирайся-ка, друг, к нам совсем, будем с тобой жить хорошо.

В ответ художнику кот повел себя так, будто он понял предложение жить и согласился. Только на какие-нибудь десять минут он убежал и опять появился совсем.

Плохо было, что все эти разговоры с котом Проглот слышал и хорошо понял, каким большим другом нашим сделался кот.

Сказать, что кот так-таки неотрывно и жил у нас, я не могу. Он жил, как все коты: уходил надолго, показывался на чужих крышах, на заборах. Обедать, однако, он всегда приходил и спал постоянно на одной постели с художником.

Случилось однажды, художник очень увлекся своей картиной, и мы тоже замерли в удивлении: груши, яблоки, плоды всякого цвета свешивались массами, и людей никого не было в этом саду, а нам отчего-то казалось, будто мы там, в саду, невидимками, и много детей всяких, и все невидимки.

Какой это чудесный был сад на холсте! Куда девались все наши почерневшие от времени заборчики! Никаких заборов на картине, один только сплошной сад, и в нем невидимками люди.

Вдруг, очнувшись, мы видим: на той стороне забора нашего сада Проглот держит в руке нашего кота и надевает ему на шею петлю...

Мы толкнули художника.

— Что ты делаешь? — закричал он.

— Я обещал вам, — ответил Проглот, — показать кузькину мать. Вот и глядите: он съел у меня сорок цыплят.

— Отдай кота, — сказал художник. — Я тебе за цыплят заплачу.

— Ладно, — отозвался Проглот. — По гривеннику за цыпленка дадите, я погожу вешать кота.

Мы получили приказ взять в бане новые штаны художника и бежать, бежать на базар что есть духу, продать не меньше как за четыре рубля и немедленно возвращаться с деньгами к Проглоту.

В один миг прибежали мы на базар и тут одумались.

— Как же быть, Сережа, — говорю я, — нехорошо будет художнику остаться без новой одежды. Погодим продавать, подумаем.

Сели мы на чью-то лавочку возле одного домика, стали думать и ничего другого не могли найти, как бежать обратно к маме и все ей рассказать.

— Вот что, детки, — сказала нам дома мать, — вы очень хорошо сделали, что пришли со мной посоветоваться. Даю вам четыре рубля, а брюки у меня оставьте. Только смотрите не говорите, что у вас есть деньги; скажите проклятому Проглоту: денег достать не могли, и хотите — заплатим грушами: по груше за цыпленка, как раз сорок груш. Если же не согласится, заплатите четыре рубля и возьмите кота.

Мы так и сделали. Пока художник обедал, натрясли Проглоту сорок груш, взяли кота, вернули художнику, а брюки мама ему сама принесла.

— Я же вас просила, — сказала она, — не связываться с Проглотом. Зачем вы это сделали? Вот он и показал вам кузькину мать.

Вот эта какая-то страшная «кузькина мать» оставалась у нас в душе с тех пор. И чем я старше делался, тем яснее мне становилась эта злая сила между людьми, разделенными друг от друга заборами.

Много с тех пор прошло времени... Насадили мы

в городе новый, большой сад впереди домов, обнесли его решеткой с узорами и покрасили ее в зеленый цвет. Много людей работало над этим садом, и я всегда у них был старшим садовником. И как видел я на картине сад без заборов, так и мы теперь делали этот самый сад. Какие дорожки в нашем саду, какие загадочные воротца между деревьями, какие встречи бывают между людьми на дорожках!

С утра до ночи я за садом приглядываю и указываю разное моим помощникам. Только уж когда совсем стемнеет, ворота в нашем саду запираются. Живу я тут же в маленьком домике, и ключ от ворот у меня.

Так у нас вышел сад и стал впереди домов. Да и в Москве тоже так делается: раньше сады были позади— для себя, а теперь они выходят вперед и для всех.

ВАСЯ ВЕСЕЛКИН

Когда снег весной сбежал в реку (мы живем на Москве-реке), на темную горячую землю везде в селе вышли белые куры.

— Вставай, Жулька! — приказал я.

И она подошла ко мне, моя любимая молодая собака, белый сеттер в частых черных пятнышках.

Я пристегнул карабинчиком к ошейнику длинный поводок, намотанный на катушку, и начал Жульку учить охоте (натаскивать) сначала по курам. Учение это со-

стоит в том, чтобы собака стояла и смотрела на кур, но не пыталась бы курицу схватить.

Вот мы и пользуемся этой потяжкой собаки для того, чтобы она указывала место, где спряталась дичь, и не совалась за нею вперед, а стояла. Такое поведение собаки называется у охотников стойкой: собака стоит, а он сам стреляет или накрывает сеткой дичь.

Непонятная сила, влекущая собаку к курице, у охотников называется потяжкой. Только не надо думать, что собаку тянет желание полакомиться курицей или какой-нибудь другой птицей. Нет, ее тянет страстное желание остановить в самом движении все живое, все способное двигаться, бежать, плыть, летать.

Вот так и вышли на черную горячую землю белые куры, и Жульку к ним потянуло. Медленно приближаясь, Жулька остановилась перед одной курицей в двух или трех метрах. Когда же она так сделала стойку, я перестал отпускать поводок и крепко зажал его в руке. Постояв некоторое время, Жулька сунулась, чтобы схватить курицу, и та с криком взлетела, а я так сильно дернул за поводок, что Жулька опрокинулась на спину.

Так сурово, для острастки, я поступил только раз.

— Лежать! — крикнул я в следующий раз, когда она опять сунулась.

И она, приученная к «лежать!» еще зимой в комнате, легла.

И пошло так у нас изо дня в день, и в какую-то одну неделю я натаскал Жульку отлично по курам. Свободно пуская собаку, я иду по деревне, она делает стойку по

курице и одним глазом глядит на нее, а другим следит за мной: как только я начну выходить из ее поля зрения, она бросает курицу и бежит ко мне.

Кроме кур, в нашей деревне никаких домашних птиц нет. Мы живем на берегу Москвы-реки, повыше Рублевского водохранилища, обеспечивающего Москву-столицу питьевой водой. Чтобы не загрязнять воду, у нас в деревне запрещено держать водоплавающую птицу. И я, хорошо натаскав Жульку по курам, совсем упустил из виду, что в селе на другой стороне реки один хозяин держит гусей.

Вот и не могу сейчас сказать, по какому это праву он их держит и почему никто не вступится за чистоту московской питьевой воды. Думаю, скорее всего, люди в колхозе были очень заняты, им было не до гусей, да и гусиный хозяин, может быть, неплохой был человек, ни с кем не ссорился — вот и терпели гусей до поры до времени. Я и сам совсем забыл об этих гусях и спокойно шел, пуская Жульку свободно бегать перед собою справа налево и обратно, слева направо.

Ничего худого не подозревая, мы вышли в конце деревни в прогон к реке. Небольшой холмик разделял нас от реки, и по нему кверху поднималась по травке белая тропка — след больших и маленьких человеческих ног, босых и обутых. Жулька пустилась вверх по этой тропе. На мгновенье она показалась мне вся вверху на фоне голубого неба. У нее была поза именно такая напряженная, как бывает у собаки на стойке. Не успел я ей крикнуть свое обычное «лежать!», как она вдруг сорвалась и бросилась со всех ног вниз по другой, невидимой мне,

стороне холма. Вскоре потом послышался всплеск воды и вслед за тем крик, шум, хлопанье по воде крыльев такое, будто бабы на помосте вальком лупили белье.

Я бежал наверх и вслед за ударами сердца своего повторял про себя:

«Ая-яй! Ая-яй! Ая-яй!»

Это потому я так испугался, что очень много в своей жизни страдал. Задерет собака какую-нибудь животину, и ничем не откупишься: так изругают, так осрамят, что весь сморщишься, как сушеный гриб.

Добежав до вершины холма, я увидал зрелище, потрясающее для учителя легавой собаки: Жулька плавала по воде, делая попытки схватить того или другого гуся. Смятение было ужасающее: гусиное гоготанье, хлопанье крыльев, пух гусиный, летающий в воздухе.

Звук моего свистка и крики были совершенно бессильны: настигнув одного гуся, Жулька пускала из него пух, а гусь, подстегнутый щипком, набирал силу и, помогая себе крыльями, частью водой, частью по воздуху уклонялся от второго щипка. Тогда Жулька повертывалась к другому гусю, пускала пух из него...

Пух, как снег, летел над рекой.

Ужасно было, что в разлив воды еще невозможно было сделать обычные мостки через реку, и я не мог приблизиться хоть сколько-нибудь к месту действия: все происходило на самой середине широко разлившейся Москвы-реки.

Всех гусей было восемь. Я не только успел всех сосчитать, но положение каждого гуся представлял себе, как представляет полководец положение всех частей его

войска. У меня вся надежда была на гусей — что какой-нибудь гусак, раздраженный наконец, озлится и сам попробует Жульку щипнуть. Она такая трусиха! Если бы хоть один гусь сделал такую попытку! Жулька бы немедленно пустилась ко мне под защиту от клюва храброго гуся...

И вот, казалось мне, один гусак как будто и догадался, и, наверно, все бы кончилось хорошо. Но в этот момент выбежал из кустов Витька с ружьем, сын хозяина гусей, и прицелился в плавающую голову Жульки...

Сердце у меня оборвалось. Но почему я не крикнул, не остановил мальчишку? Мне кажется теперь, как будто все было во сне, что от ужаса я онемел. На самом же деле, конечно, я бы крикнул, если бы только было мгновенье для крика. Все произошло так скоро, что крикнуть я не успел.

Грянул выстрел.

Я успел все-таки увидеть, что чья-то рука из кустов толкнула Витьку в плечо и дробь хлестнула по воде далеко от места побоища.

Витька хотел стрелять из второго ствола, но голос из кустов остановил его:

— Что ты делаешь? Собака законно гонит гусей: тут водоохранная зона; не собака, а гуси тут незаконные. Ты, дурак, своего отца подведешь!

Тут, конечно, и у меня язык развязался, да и Жулька опомнилась от выстрела, услыхала мой зов, поплыла к моему берегу.

Конечно, я тут не растерялся до того, чтобы открыть Жульке свою радость спасения. Напротив, я ждал ее на

берегу мрачный и говорил ей своим видом, как я умею разговаривать с собаками.

— Плыви, плыви, — говорил я, — ты мне ответишь за гусиный пух!

Выйдя на берег, она, по собачьему обыкновению, хотела укрыть свое смущение посредством делового встряхивания, фырканья, катанья своего по песку. Но как она ни старалась, гусиный пух с ее носа и рта не слетал.

— Ты мне ответишь за гусиный пух! — повторил я.

Наконец и ей надоело притворяться, обернулась ко мне, и я прочитал по ее виду:

— Что же делать, хозяин, я уж такая...

— Нет, матушка, — отвечал я, — ты не должна быть такая.

— Что же делать? — спросила она и сделала шаг в мою сторону.

— Что делать? — сказал я. — Иди-ка, иди ко мне на расправу.

Нет, этого она боится. Она ложится на брюхо, вытягивает на песке далеко от себя вперед лапы, кладет на них голову, большими человеческими глазами глядит на меня.

— Прости меня, хозяин! — говорит она глазами.

— Пух у тебя на носу! — говорю я. — Отвечай за пух!

— Я больше не буду! — говорит она глазами с выступающими на белки красными от напряжения и раскаяния жилками.

— Ладно! — говорю я таким голосом, что она меня понимает и несется ко мне.

Так все хорошо кончилось, но одно я в радости своей упустил. Я не успел рассмотреть, кто же это был спаси-

тель Жульки. Когда я вернулся домой и захотел приступить к своим обычным занятиям, мысль о неизвестном не давала мне работать. Любовь моя к охоте, к природе, к собаке не могла оставаться во мне теперь без благодарности спасителю моей прекрасной собаки...

Так я отложил свои занятия и пошел к учителю в школу, за несколько километров от нас. По маленькой руке, толкнувшей Витьку в плечо, по голосу я знал, что это был мальчик. По рассудительному окрику я знал, что мальчик, наверно, учился в школе.

Рассказав все учителю, я попросил его найти мне мальчика, спасителя Жульки, обещал, что подарю ему любимую мою книгу «Всадник без головы» в хорошем издании. Учитель обещал мне найти мальчика, и после того я уехал надолго учить Жульку в болотах.

Приближалось время охоты, когда, выучив Жульку, я вернулся домой и в первый же день направился к учителю.

Оказалось, найти спасителя Жульки не так-то легко. Но только несомненно, что он был среди школьников.

— Он сделал хорошее дело, — сказал я, — мы ищем, чтобы поблагодарить его, почему же он не хочет открыться?

— В том-то и дело,— ответил учитель,— ему не хочется выхваляться тем, что самому ничего не стоило. Он стыдится, и это стыд здоровый: каждый должен был так поступить.

— Но не все же такие мальчики; нам нужно непременно найти его, нам нужен пример для других.

— Это правда! — ответил учитель.

И, подумав немного, сказал:

— Мне пришла в голову мысль. Мы найдем! Скажите, сколько было гусей?

— Их было восемь, — ответил я.

— Так помните: восемь, — сказал учитель, — и напишите рассказ об этом случае, напишите правдиво и подчеркните в нем, что было не сколько-нибудь, а именно восемь гусей.

Замысел свой учитель от меня скрыл. Я и не стал допытываться, скоро написал рассказ, и в одно воскресенье мы с учителем устроили чтение в школе веселых рассказов разных авторов. Так дошло и до чтения моего правдивого рассказа о собаке Жульке и о гусях. Нарочно для правдивости я и Жульку привел в школу, показывал, как она по слову «лежать!» ложится, как делает стойку.

Веселье началось особенное, когда я читал про гусиный пух и что я, как полководец, держал в уме поведение каждого гуся.

— А сколько их всех было? — спросил меня в это время учитель.

— Восемь гусей, Иван Семеныч!

— Нет, — сказал учитель, — их было пятнадцать.

— Восемь! — повторил я. — Утверждаю: их было восемь.

— И я утверждаю, — резко сказал Иван Семеныч, — их было именно пятнадцать, и могу доказать: хотите, пойдем сейчас к хозяину и сосчитаем: их у него пятнадцать.

Во время этого спора чье-то нежное, стыдливое сердце сжималось от боли за правду, и это сердце было на сто-

роне автора рассказа о гусях и собаке. Какой-то мой слушатель, мой читатель будущий, мой сторонник горел за правду у себя на скамеечке.

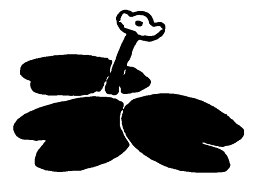
— Утверждаю, — сказал учитель, — гусей было пятнадцать.

— Неправда! — закричал мой друг. — Гусей было восемь!

Так мой друг поднялся за правду, весь красный, вихрастый, взволнованный, с глазами, гневно устремленными на учителя.

Это и был Вася Веселкин, стыдливый, застенчивый в своих добрых делах и бесстрашный в отстаивании правды.

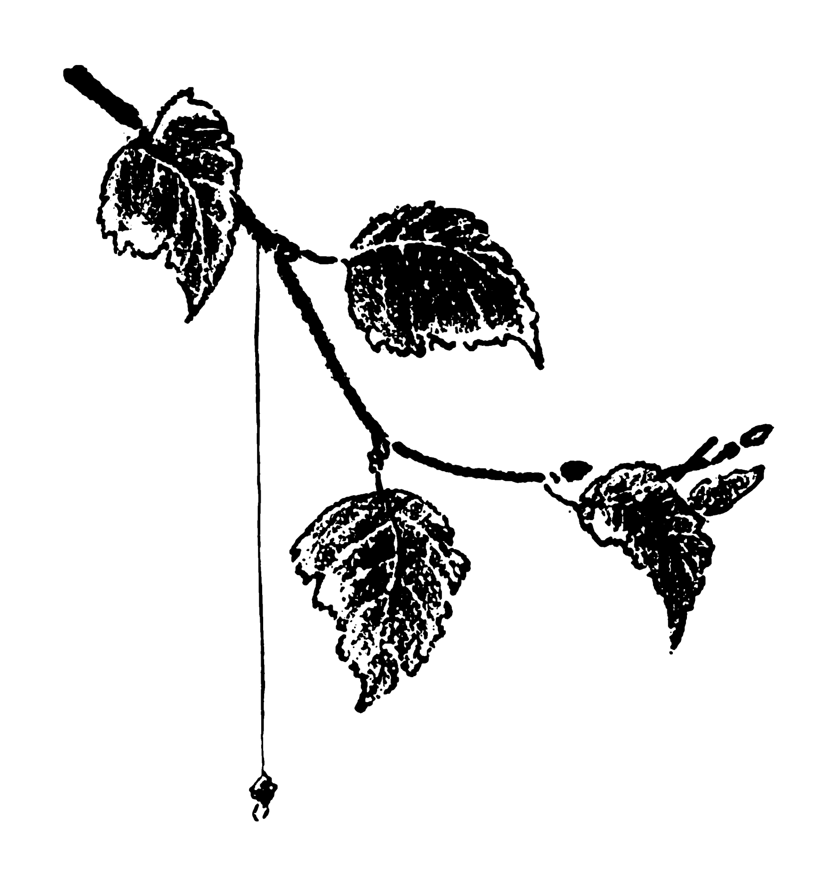
— Ну, спасибо тебе, мой друг, — сказал я и подарил спасителю моей Жульки любимую в детстве книгу «Всадник без головы».





ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН





ПАУТИНКА

Вот был солнечный день, такой яркий, что лучи проникали даже и в самый темный лес. Шел я вперед по такой узенькой просеке, что некоторые деревья с одной стороны перегибались на другую, и это дерево шептало своими листиками что-то другому дереву, на той стороне. Ветер был очень слабый, но все-таки он

был: и наверху лепетали осинки, и внизу, как всегда, важно раскачивались папоротники. Вдруг я заметил: со стороны на сторону через просеку, слева направо, беспрерывно там и тут перелетают какие-то мелкие огненные стрелки. Как всегда в таких случаях, я сосредоточил свое внимание на стрелках и скоро заметил, что движение стрелок происходит по ветру, слева направо. Еще я заметил, что на елках их обычные побеги-лапки вышли из своих оранжевых сорочек и ветер сдувал эти ненужные больше сорочки с каждого дерева во множестве великом: каждая новая лапка на елке рождалась в оранжевой сорочке, и теперь сколько лапок, столько сорочек слетало — тысячи, миллионы...

Мне видно было, как одна из этих слетающих сорочек встретилась с одной из летящих стрелок и вдруг повисла в воздухе, а стрелка исчезла. Я понял тогда, что сорочка повисла на невидимой мне паутинке, и это дало мне возможность в упор подойти к паутинке и вполне понять явление стрелок: ветер поддувает паутинку к солнечному лучу, блестящая паутинка вспыхивает от света, и от этого кажется, будто стрелка летит. В то же время я понял, что паутинок этих, протянутых через просеку, великое множество, и, значит, если я шел, то разрывал их, сам не зная того, тысячами. Мне казалось, что у меня была такая важная цель — учиться в лесу быть его настоящим хозяином, — что я имел право рвать все паутинки и заставлять всех лесных пауков работать для моей цели. Но эту замеченную мной паутинку я почему-то пощадил: ведь это она же благодаря повисшей на ней сорочке помогла разгадать мне явление стрелок. Был ли я жесток,

разрывая тысячи паутинок? Нисколько: я же их не видел — моя жестокость была следствием моей физической силы. Был ли я милостив, наклоняя для спасения паутинки свою натруженную спину? Не думаю: в лесу я веду себя учеником, и если бы я мог, то ничего бы не тронул. Спасение этой паутинки я отношу к действию моего сосредоточенного внимания.

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН

То было в солнечный день, а то расскажу, как было в лесу перед самым дождем. Наступила такая тишина, было такое напряжение в ожидании первых капель, что, казалось, каждый листик, каждая хвоинка силилась быть первой и поймать первую каплю дождя. И так стало в лесу, будто каждая мельчайшая сущность получила свое собственное, отдельное выражение.

Так вхожу я к ним в это время, и мне кажется: они все, как люди, повернулись ко мне лицами и по глупости своей у меня, как у бога, просят дождя.

— А ну-ка, старик, — приказал я дождю, — будет тебе всех нас томить, ехать так ехать, начинай!

Но дождик в этот раз меня не послушался, и я вспомнил о своей новой соломенной шляпе: пойдет дождь — и шляпа моя пропала. Но тут, думая о шляпе, увидел я необыкновенную елку. Росла она, конечно, в тени, и оттого сучья у нее когда-то были опущены вниз. Теперь же, после выборочной рубки, она очутилась на свету, и каждый сук ее стал расти кверху. Наверно, и нижние суки со временем поднялись бы, но ветки эти, соприкоснувшись с землей, выпустили корешки и прицепились... Так под елкой с поднятыми вверх сучьями внизу получился хороший шалашик. Нарубив лапнику, я уплотнил его, сделал вход, устелил внизу сиденье. И только уселся, чтобы начать новую беседу с дождем, как вижу — против меня, совсем близко, пылает большое дерево. Быстро схватил я с шалашика лапник, собрал его в веник и, стегая по горящему месту, мало-помалу пожар затушил раньше, чем пламя пережгло кору дерева кругом и тем сделало бы невозможным движение сока.

Вокруг дерева место не было обожжено костром, коров тут не пасли, и не могло быть подпасков, на которых все валят вину за пожары. Вспомнив свои детские разбойничьи годы, я сообразил, что смолу на дереве поджег, скорей всего, какой-нибудь мальчишка из озорства, из любопытства поглядеть, как будет гореть смола. Спустившись в свои детские годы, я представил себе, до чего же это приятно — взять чиркнуть спичкой и поджечь дерево.

Мне стало ясно, что вредитель, когда загорелась смола, вдруг увидел меня и скрылся тут же где-нибудь в ближайших кустах. Тогда, сделав вид, будто я про-

должаю свой путь, посвистывая, удалился я с места пожара и, сделав несколько десятков шагов вдоль просеки, прыгнул в кусты и возвратился на старое место и тоже затаился.

Недолго пришлось мне ждать разбойника. Из куста вышел белокурый мальчик лет семи-восьми, с рыжеватым солнечным запеком, смелыми, открытыми глазами, полуголый и с отличным сложением. Он враждебно поглядел в сторону просеки, куда я ушел, поднял еловую шишку и, желая пустить ее куда-то в меня, так размахнулся, что перевернулся даже вокруг себя. Это его не смутило; напротив, он, как настоящий хозяин лесов, заложил обе руки в карманы, стал разглядывать место пожара и сказал:

— Выходи, Зина, он ушел!

Вышла девочка, чуть постарше, чуть повыше и с большой корзиной в руке.

— Зина, — сказал мальчик, — знаешь что?

Зина глянула на него большими спокойными глазами и ответила просто:

— Нет, Вася, не знаю.

— Где тебе! — вымолвил хозяин лесов. — Я хочу сказать тебе: не приди тот человек, не погаси он пожар, то, пожалуй, от этого дерева сгорел бы весь лес. Вот бы мы тогда поглядели!

— Дурак ты! — сказала Зина.

— Правда, Зина, — сказал я. — Вздумал чем хвастаться, настоящий дурак!

И как только я сказал эти слова, задорный хозяин лесов вдруг, как говорят, «улепетнул».

А Зина, видимо, и не думала отвечать за разбойника. Она спокойно глядела на меня, только бровки ее поднимались чуть-чуть удивленно.

При виде такой разумной девочки мне захотелось обратить всю эту историю в шутку, расположить ее к себе и потом вместе обработать хозяина лесов. Как раз в это время напряжение всех живых существ, ожидающих дождя, дошло до крайности.

— Зина, — сказал я, — смотри, как все листики, все травинки ждут дождя. Вон заячья капуста даже на пень забралась, чтобы захватить первые капли.

Девочке моя шутка понравилась, она милостиво мне улыбнулась.

— Ну, старик, — сказал я дождю, — будет тебе всех нас томить, начинай, поехали!

И в этот раз дождик послушался, пошел. А девочка серьезно, вдумчиво сосредоточилась на мне и губки поджала, как будто хотела сказать: «Шутки шутками, а все-таки дождик пошел».

— Зина, — сказал я поспешно, — скажи, что у тебя в этой большой корзине?

Она показала: там было два белых гриба. Мы уложили в корзину мою новую шляпу, закрыли папоротником и направились от дождя в мой шалаш. Наломав еще лапнику, мы укрыли его хорошо и залезли.

— Вася! — крикнула девочка. — Будет дурить, выходи!

И хозяин лесов, подгоняемый проливным дождем, не замедлил явиться.

Как только мальчик уселся рядом с нами и захотел



что-то сказать, я поднял вверх указательный палец и приказал хозяину:

— Ни гугу!

И все мы трое замерли.

Невозможно передать прелести пребывания в лесу под елкой во время теплого летнего дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождем, ворвался в середину нашей густой елки и уселся над самым шалашом. Совсем на виду под веточкой устроился зяблик. Ежик пришел. Проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и шептал что-то нашей елке. И мы долго сидели, и все было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно шептал, шептал, шептал...

СУХОСТОЙНОЕ ДЕРЕВО

Когда дождик прошел и все вокруг засверкало, мы по тропе, пробитой ногами прохожих, вышли из леса. При самом выходе стояло огромное и когда-то могучее дерево, перевидевшее не одно поколение людей. Теперь оно стояло совершенно умершее, было, как говорят лесники, «сухостойное».

Оглядев это дерево, я сказал детям:

— Быть может, прохожий человек, желая здесь отдохнуть, воткнул топор в это дерево и на топор повесил свой тяжелый мешок. Дерево после того заболело и стало залечивать ранку смолой. А может быть, спасаясь от охотника, в густой кроне этого дерева затаилась белка, и охотник, чтобы выгнать ее из убежища, принялся тяжелым поленом стучать по стволу. Бывает довольно одного только удара, чтобы дерево заболело.

И много, много с деревом, как и с человеком и со всяким живым существом, может случиться такого, от чего возьмется болезнь. Или, может быть, молния стукнула?

С чего-то началось, и дерево стало заливать свою рану смолой. Когда же дерево стало хворать, об этом, конечно, узнал червяк. Закорыш забрался под кору и стал там точить. По-своему как-то о червяке узнал дятел и в поисках закорыша стал долбить там и тут дерево. Скоро ли найдешь? А то может быть и так, что, пока дятел долбит и раздолбит так, что можно бы ему и схватить, закорыш в это время продвинется, и лесному плотнику надо снова долбить. И не один же закорыш, и не один тоже дятел. Так долбят дерево дятлы, а дерево, ослабевая, все заливает смолой.

Теперь поглядите вокруг дерева на следы костров и понимайте: по этой тропе люди ходят, тут останавливаются на отдых и, несмотря на запрет в лесу костры разводить, собирают дрова и поджигают. А чтобы скорей разжигалось, стесывают с дерева смолистую корку. Так мало-помалу от стесывания образовалось вокруг дерева белое кольцо, движение соков вверх прекратилось, и де-

рево засохло. Теперь скажите, кто же виноват в гибели прекрасного дерева, простоявшего не меньше двух столетий на месте: болезнь, молния, закорыш, дятлы?

— Закорыш! — быстро сказал Вася. И, поглядев на Зину, поправился: — Дятлы!

Дети были, наверно, очень дружны, и быстрый Вася привык читать правду с лица спокойной умницы Зины. Так, наверно, он слизнул бы с ее лица и в этот раз правду, но я спросил ее:

— А ты, Зиночка, как ты, милая дочка моя, думаешь?

Девочка обняла рукой ротик, умными глазами поглядела на меня, как в школе на учителя, и ответила:

— Наверно, виноваты люди.

— Люди, люди виноваты! — подхватил я за ней.

И, как настоящий учитель, рассказал им о всем, как я думаю сам для себя: что дятлы и закорыш не виноваты, потому что нет у них ни ума человеческого, ни совести, освещающих вину в человеке; что каждый из нас родится хозяином природы, но только должен много учиться понимать лес, чтобы получить право им распоряжаться и сделаться настоящим хозяином леса. Не забыл я рассказать и о себе, что до сих пор учусь постоянно и без какого-нибудь плана или замысла ни во что в лесу не вмешиваюсь. Тут не забыл я рассказать и о недавнем своем открытии огненных стрелок и о том, как пощадил даже одну паутинку.

После того мы вышли из леса, и так со мною теперь постоянно бывает: в лесу веду себя как ученик, а из леса выхожу как учитель.

СТАРЫЙ ГРИБ

I

Была у нас революция тысяча девятьсот пятого года. Тогда мой друг был в расцвете молодых сил и сражался на баррикадах на Пресне. Незнакомые люди, встречаясь с ним, называли его братом.

— Скажи, брат, — спросят его, — где...

Назовут улицу, и «брат» ответит, где эта улица.

Пришла первая мировая война тысяча девятьсот четырнадцатого года, и, слышу, ему говорят:

— Отец, скажи...

Стали не братом звать, а отцом.

Пришла последняя большая революция. У моего друга в бороде и на голове показались белые, серебряные волосы. Те, кто его знал до революции, встречались теперь, смотрели на бело-серебряные волосы и говорили:

— Ты что же, отец, стал мукой торговать?

— Нет, — отвечал он, — серебром. Но дело не в этом.

Его настоящее дело было — служить обществу, и еще он был врач и лечил людей, и еще он был очень добрый человек и всем, кто к нему обращался за советом, во всем помогал. И так, работая с утра и до поздней ночи, он прожил лет пятнадцать при Советской власти.

Слышу, однажды на улице кто-то его останавливает:

— Дедушка, а дедушка, скажи...

И стал мой друг, прежний мальчик, с кем мы в старинной гимназии на одной скамейке сидели, дедушкой.

Так вот время проходит, просто летит время, оглянуться не успеешь...

Ну хорошо, я продолжаю о друге. Белеет и белеет наш дедушка, и так наступает наконец день великого праздника нашей победы над немцами. И дедушка, получив почетный пригласительный билет на Красную площадь, идет под зонтиком и дождя не боится. Так проходим мы к площади Свердлова и видим там, за цепью милиционеров, вокруг всей площади войска — молодец к молодцу. Сырость вокруг от дождя, а глянешь на них, как они стоят, и сделается, будто погода стоит очень хорошая.

Стали мы предъявлять свои пропуска, и тут, откуда ни возьмись, мальчишка какой-то, озорник наверно, задумал как-нибудь на парад прошмыгнуть. Увидел этот озорник моего старого друга под зонтиком и говорит ему:

— А ты зачем идешь, старый гриб?

Обидно мне стало, признаюсь, очень я тут рассердился и цап этого мальчишку за шиворот. Он же вырвался, прыгнул, как заяц, на прыжке оглянулся и удрал.

II

Парад на Красной площади вытеснил на время из моей памяти и мальчишку и «старый гриб». Но, когда я пришел домой и прилег отдохнуть, «старый гриб» мне

опять вспомнился. И я так сказал невидимому озорнику:

— Чем же молодой-то гриб лучше старого? Молодой просится на сковородку, а старый сеет споры будущего и живет для других, новых грибов.

И вспомнилась мне одна сыроежка в лесу, где я постоянно грибы собираю. Было это под осень, когда березки и осинки начинают сыпать на молодые елочки вниз золотые и красные пятачки.

День был теплый и даже паркий, когда грибы лезут из влажной, теплой земли. В такой день, бывает, ты все дочиста выберешь, а вскоре за тобой пойдет другой грибник и тут же, с того самого места, опять собирает; ты берешь, а грибы все лезут и лезут.

Вот такой и был теперь грибной, паркий день. Но в этот раз мне с грибами не везло. Набрал я себе в корзину всякую дрянь: сыроежки, красноголовики, подберезники, а белых грибов нашлось только два. Будь бы боровики, настоящие грибы, стал бы я, старый человек, наклоняться за черным грибом! Но что делать — по нужде поклонишься и сыроежке.

Очень парко было, и от поклонов моих загорелось у меня все внутри и до смерти пить захотелось. Но не идти же в такой день домой с одними черными грибами! Времени было впереди довольно поискать белых.

Бывают ручейки в наших лесах, от ручейков расходятся лапки, от лапок мочежинки или просто даже потные места. До того мне пить хотелось, что, пожалуй бы, даже и мокрой землицы попробовал. Но ручей был очень

далеко, а дождевая туча еще дальше: до ручья ноги не доведут, до тучи не хватит рук.

И слышу я — где-то за частым ельничком серенькая птичка пищит:

«Пить, пить!»

Это, бывает, перед дождиком серенькая птичка — дождевик — пить просит:

«Пить, пить!»

— Дурочка, — сказал я, — та́к вот тебя тучка-то и послушается!

Поглядел на небо, и где тут дождаться дождя: чистое небо над нами, и от земли пар, как в бане.

Что тут делать, как быть?

А птичка тоже по-своему все пищит:

«Пить, пить!»

Усмехнулся я тут сам себе, что вот какой я старый человек, столько жил, столько видел всего на свете, столько узнал, а тут просто птичка, и у нас с ней одно желание.

— Дай-ка, — сказал я себе, — погляжу на товарища.

Продвинулся я осторожно, бесшумно в частом ельнике, приподнял одну веточку — ну, вот и здравствуйте!

Через это лесное оконце мне открылась поляна в лесу, посередине ее две березы, под березами — пень, и рядом с пнем в зеленом брусничнике красная сыроежка, такая огромная, каких в жизни своей я еще никогда не видел. Она была такая старая, что края ее, как это бывает только у сыроежек, завернулись вверх.

И от этого вся сыроежка была в точности как большая глубокая тарелка, притом наполненная водой.

Повеселело у меня на душе.

Вдруг вижу — слетает с березы серая птичка, садится на край сыроежки и носиком — тюк! — в воду. И головку вверх, чтобы капля в горло прошла.

«Пить, пить!» — пищит ей другая птичка с березы.

Листик там был на воде в тарелке — маленький, сухой, желтый. Вот птичка клюнет, вода дрогнет, и листик загуляет. А я-то из оконца вижу все и радуюсь и не спешу: много ли птичке надо, пусть себе напьется, нам хватит!

Одна напилась, полетела на березу. Другая спустилась и тоже села на край сыроежки. И та, что напилась, сверху ей:

«Пить, пить!»

Вышел я из ельника так тихо, что птички не очень меня испугались, а только перелетели с одной березы на другую.

Но пищать они стали не спокойно, как раньше, а с тревогой, и я их так понимал, что одна спрашивала:

«Выпьет?»

Другая отвечала:

«Не выпьет!»

Я так понимал, что они обо мне говорили и о тарелке с лесной водой: одна загадывала — «выпьет», другая спорила — «не выпьет».

— Выпью, выпью! — сказал я им вслух.

Они еще чаще запищали свое: «Выпьет-выпьет».

Но не так-то легко было мне выпить эту тарелку лесной воды.

Конечно, можно бы очень просто сделать, как делают


EP

все, кто не понимает лесной жизни и в лес приходит, только чтобы себе взять чего-нибудь. Такой своим грибным ножиком осторожно подрезал бы сыроежку, поднял к себе, выпил бы воду, а ненужную ему шляпку от старого гриба шмякнул бы тут же о дерево.

Удаль какая!

А по-моему, это просто неумно. Подумайте сами, как мог я это сделать, если из старого гриба на моих глазах напились две птички, и мало ли кто пил без меня, и вот я сам, умирая от жажды, сейчас напьюсь, а после меня опять дождик нальет, и опять все станут пить. А там дальше созреют в грибе семена — споры, ветер подхватит и рассеет по лесу для будущего...

Видно, делать нечего. Покряхтел я, покряхтел, опустился на свои старые колени и лег на живот. По нужде, говорю, поклонился я сыроежке.

А птички-то! Птички играют свое:

«Выпьет — не выпьет?»

— Нет уж, товарищи, — сказал я им, — теперь больше не спорьте: теперь я добрался и выпью.

Так это ладно пришлось, что когда я лег на живот, то мои запекшиеся губы сошлись как раз с холодными губами гриба. Но только бы хлебнуть — вижу перед собой в золотом кораблике из березового листа на тонкой своей паутинке спускается в гибком блюдце паучок. То ли он это поплавать захотел, то ли ему надо напиться.

— Сколько же вас тут, желающих! — сказал я ему. — Ну тебя...

И в один дух выпил всю лесную чашу до дна.

III

Возможно, я это от жалости к своему другу вспомнил о старом грибе и вам рассказал. Но рассказ о старом грибе — это только начало моего большого рассказа о лесе. Дальше будет о том, что случилось со мною, когда я напился живой воды.

Это будут чудеса не как в сказке о живой воде и мертвой, а настоящие, как они совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши — не слышим.

ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ

Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз.

Притаиться, подождать у края — что там делается на лесной поляне!

В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты.

Первые же лучи солнца, являясь, убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все растает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинышки.

На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится: уносит ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.

Ветер — заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика.

А вот осень пришла — и заботливый хозяин убирает свой урожай.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.





КЛАДОВАЯ СОЛНЦА





I

В одном селе возле Блудова болота, в районе города Переславля-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень

милые. Настя была, как золотая курочка на высоких ногах. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх попугайчиком.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

Мужичок-в-мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх попугайчиком.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех этих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть и на колхозных полях,

лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду, бочонки, шайки, лоханки. У него есть ладило[1] — фуганок длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к одной, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят: кому шайку на умывальник, кому нужен под капели бочонок, кому кадушечка — солить огурцы или грибы, или даже простая посудинка с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверное, что-то смекает.

---

[1] Ладйло — бондарный инструмент Переславского района, Ивановской области.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда Мужичок-в-мешочке начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку, и как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть! — скажет сестра.

И брат начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку сажать.

Да, очень, очень трудно было всем во время Отечественной войны, так трудно, что, наверно, и на всем свете так никогда не бывало. Вот и детям пришлось хлебнуть много всяких забот, неудач, огорчений. Но их дружба перемогла все, они жили хорошо. И мы опять можем твердо сказать: во всем селе ни у кого не было такой дружбы, как жили между собой Митраша и Настя Веселкины. И думаем, наверное, это горе о родителях так тесно соединило сирот.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква — сладкая, как у нас говорят, — бывает, когда она перележит зиму под снегом. Эту весеннюю темно-красную клюкву парят у нас в горшках вместе со свеклой и пьют чай с ней, как с сахаром. У кого же нет сахарной свеклы, то пьют чай и с одной клюквой. Мы это сами пробовали — и ничего, пить можно: кислое заменяет сладкое и очень даже хорошо в жаркие дни. А какой замечательный кисель получается из сладкой клюквы, какой морс! И еще в народе у нас считают эту клюкву целебным лекарством от всех болезней.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее — там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо

закроется тучами и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад, ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку, и она укажет тебе, где твой дом; пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел — такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя, кожаная корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «тулку» на левое — и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же, — ответила Настя, — ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще»,

вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь, — сказал Митраша сестре, — как отец нам говорил о клюкве, что есть палести́нка[1] в лесу...

— Помню, — ответила Настя, — о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань[2].

— Вот там, возле елани, и есть палестинка,— сказал Митраша. — Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал.

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзину весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что,

---

[1] Палести́нкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу.

[2] Ела́нь — топкое место в болоте, все равно что прорубь на льду.

правда, на пути к ней есть Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

III

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимою зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для других людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом

болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые мелкие и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй сорви цветочек волчьего лыка, — сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил, — ответил брат,— волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— А как же! Отец говорил, тут есть страшный волк, Серый Помещик.

— Помню: тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил, он живет теперь на Сухой речке, в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует! — ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота сырого, глухого все звуки собирались сюда. Борина с лесом сосновым и звонким на суходоле отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэек! — чуть слышно постукивает огромная птица глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — дикий селезень в воздухе пролетал над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка кряква на озере.

— Гу-гу-гу! — красная птичка снегирь на березе.



Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит большой кулик кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыкает, белая куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, слышим эти звуки и знаем их и различаем. Мы радуемся и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто тогда они тоже все подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого. И закрякают в ответ, и зачуфыкают, и затэтэкают, и зашваркают, и закаркают, стараясь всеми голосами этими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один, ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя. — Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного! Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем так?

— Отец говорил, он кричит: «Здравствуй, зайчиха!»

— А это что ухает?

— Отец говорил: это ухает выпь, бык водяной.

— И чего он ухает?

— Отец говорил, у него есть тоже своя подруга и он

ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха!»

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда, как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл собою торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно, в стройном согласии могли закричать:

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил, это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

Настенька вся сжалась от холода, и в болотной сырости пахну́л на нее резкий, одуряющий запах багульника. Маленькой и слабой почувствовала себя Золотая Курочка на высоких ножках перед этой какой-то неминучей силой погибели.

— Что это, Митраша, — спросила она ежась, — так страшно воет вдали?

— Отец говорил, — ответил Митраша, — это воют на Сухой речке волки, и, наверное, сейчас это воет волк Серый Помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он так страшно воет теперь?

— Отец говорил, волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото!

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север, по этой тропе.

— Нет, — ответила Настя, — мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал — помнишь? — какое это страшное место Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону, значит, там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник. — Мы пойдем на север, как отец говорил: там есть палестинка, где еще никто не бывал.

— Вот еще! — воскликнула умная Золотая Курочка. — Отец наш сказки любил рассказывать, а может быть, вовсе и нет никакой палестинки.

— Понимаешь ты! — рассердился упрямый Мужичок-в-мешочке.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород ужасно боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа. До того это было похоже на стон и вой живых существ, что лисичка, свернутая на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину и могучие стволы соснового бора

стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца. И светлые лучи, пролетающие над головами детей, еще не грели. Болотная земля была вся в ознобе, мелкие лужицы покрылись белым ледком.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост. Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф! Ши!

По-тетеревиному «чуф», скорее всего, значило «солнце», а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, до-

жидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут, где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц тоже, каждый петух, вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда как будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи на току. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу.
Круты перья
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет

и, наверно, встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнездо, была тише воды, ниже травы и вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

— Выручай!

— Кра! — ответил самец в сторону тока, в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик возле елки у самого гнезда, где косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое известное всем охотникам:

— Кар-кер-кекс!

И это было сигналом к всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул, елка нажала на сосну, и сосна простонала. Ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.


EP

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная, тропа шла направо, другая, слабенькая, прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая на слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша. — Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый Мужичок-в-мешочке. — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя, — и, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке

идти — как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну, ладно, — резко повернул Митраша, — я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, отвернулась и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец, быстро перебежав по мостику остальной путь до косача, со всей силой долбанул его. Как ошпаренный, метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце от нас, со всеми его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завыла. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належанного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стона, рычанья, ворчанья, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет. Все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось, он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят?

— Мало, — отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде, сколько же тебе лет?

— По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы вперед скажете мне, чтó есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверное, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю, — усмехнулся Антипыч.

— Ну скажи.

— Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте: я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки вы, — сказал он, — не маленькие, пора бы самим знать, а вы всё спрашиваете. Ну ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала:

— Зачем позвал меня, хозяин?

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть... Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах, все ниже и ниже, и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она как вдруг вскочит — и лапами на плечи, и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— Ну-те, ребята, — сказал Антипыч, — вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте; а упу́стите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнушки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик,

покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и часто, вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу и тут иногда, услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла...

К этому вою давно уже прислушивался волк, Серый Помещик...

VI

Сторожка Антипыча была вовсе не далеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша «волчья команда». Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы выли по-волчьи и так вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попáдали, а после того и сама вода разбежалась в болоте.

Многими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось «крепкое место», по-нашему, по-охотничьи, или даже, можно сказать, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице по кругу в три километра развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок. Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней молодые переярки и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно, — огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым Помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону, и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда, сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи. И, определив нужный момент, врывался в стадо и подряд резал овец и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе в недоступное лого-

вище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось ворваться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый Помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же наконец придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половинку хвоста и завыл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, это — волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужить.


E.P

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он служит; ему все равно, кто воет: дерево, собака — друг человека или волк — злейший враг его, — лишь бы выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле сторожки Антипыча, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что «весь человек» — это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то, скорее всего, и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услыхав эту ненавистную ему собачью «молитву» о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще

каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, «помолившись» Антипычу, она почувствовала сильный голод. Она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное заяц не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю шерсточку на кустарниках и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор, как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнувшей хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить, идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес

с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб!

Куда же идти, в какую сторону?

У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась.

Так и Травка сколола́сь. И, как всякая гончая в таком случае, начала делать круги с высокой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц...

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел, но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула к себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она пустилась в поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни одна струйка воздуха не переместилась, и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча провисели в неподвижном воздухе с утра и до вечера.

Поняв сразу, что по следам найти Антипыча невозможно, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала.

И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб и картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к Лежачему камню, сверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след.

Можно догадываться, она так подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лёжку, он где-нибудь тут же недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет... А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение: трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча...»

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа, на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.



VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И, уж конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое — Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми своими огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца как торф достается человеку от солнца в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети, у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки, тропы и кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит, и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений стоят редкие маленькие корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки — не как деревья в бору, все одинаковые, высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется она чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть; третья присела зачем-то; четвертая стоя вяжет чулок. И так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки-елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая тянет к тропе костлявую руку.

Теперь уже непрерывно от каждого шага поднимается под землей урчанье и ворчанье.

Вдруг над головой, совсем близко, показывается головка с хохолком, и встревоженный на гнезде чибис с круглыми черными крыльями и белыми подкрыльями резко кричит:

— Чьи вы, чьи вы?

— Жив, жив! — как будто отвечая чибису, кричит большой кулик кроншнеп, птица серая, с большим кривым клювом.

И черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особенный крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человечек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это значило у нее:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами навострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил: что ему было трусить, если под его ногами была тропа человеческая! Шел такой же человек, как и он, значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой!

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда в ямку воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из моха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой — не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого — траве можно было далеко вперед себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево и туда идет и там совсем исчезает. Он проверил по компасу: стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное, что́ он увидел, — это что совсем близко по той стороне поляны змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду повертывать налево, на кочки, если тропа вон, рукой подать, виднеется там, за полянкой!»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку...

. . . .

— Эх, вы! — бывало, говорил нам Антипыч, когда мы провалимся в болоте, придем домой грязные, мокрые.— Ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же? — спрашивали мы.

— Ходили бы, — отвечал он, — голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным; обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребятишки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали. Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не знавши броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не знавши броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая большими белыми прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот за то эта елань и называлась Слепою, что по виду ее было невозможно узнать.

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше шел по болоту. Постепенно, однако, ноги его стали утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать их обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колени, в другой миг ему стало выше колен. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

— Перескочу! — сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый — пропадать, так уж пропадать! — на авось, рванулся еще, и еще, и еще. И почувствовал себя плотно схваченным со всех



сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было, при малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей отвечал.

Но ветер был с той стороны, где была Настя, и уносил его крик в ту сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде: «Дри-ти-ти!», другие: «Драта-та!»

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И, мгновенно остановив шумный помах своих крыльев, резко бросил себя вниз и опять раскрыл крылья почти над самой головой человечка.

Маленький человек не решился даже показать ружье черному вестнику своей гибели.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человека. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали скачками-прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот, взять ягоду чернику — та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком черничинки, черные ягодки с синим пушком. Так же брусника: кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком — ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника — красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюк-

ву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод.

То ли, что клюква — ягода дорогая весной, то ли, что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее у женщин развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так чуть и не померла возле полной корзины.

А то бывает, одна женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом — не видит ли кто? — приляжет к земле на мокрое болото и ползает, и уж не видит, что к ней ползет другая, не похожая вовсе даже и на человека. Так встретятся одна с другой — и ну цапаться!

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, для каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала, ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше, дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться.

А вот теперь он ушел один неизвестно куда, она и не

помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно, что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой — куда клюква ведет, туда и она, — Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения от жадности: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями, — там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидала такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали: что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань, Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда

пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и была как раз та самая палестинка, куда Митраша стремился по компасу. Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета!

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на золотую курочку на высоких ногах, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

— Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память обо всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь к сестре на своих могучих крыльях весточку о брате, погибающем в болоте от своей отчаянной и бессмысленной смелости! Ты бы, ворон, сказал им...

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу! — тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха. — Только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец, пролетая над девочкой, ползающей почти рядом с погибаю-

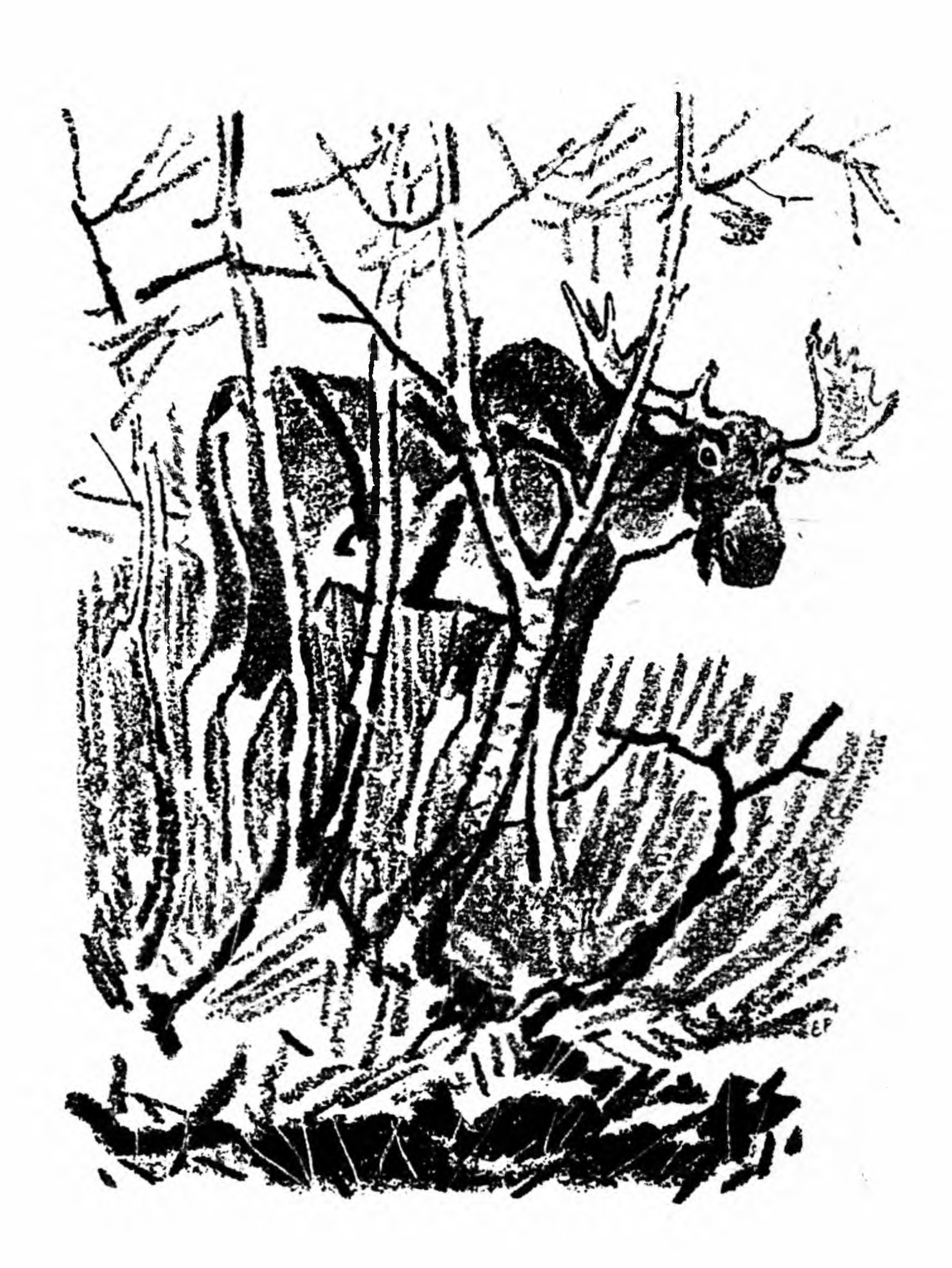
щим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего, ни быка, ни коня, а так, складывается что-то большое, серое в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепнулись к дереву и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громада. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело?

Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве? Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползающую девочку, как на всякую ползающую тварь.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой большую корзину, вся мокрая и грязная — прежняя Золотая Курочка на высоких ногах.

Лось ее и за человека не считает: он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.



А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, и воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону.

Ядовитые змеи — гадюки в это время года стерегут тепло, и одна огромная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за ту самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела.

Тогда-то наконец Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на землю: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком, в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черным ремешком на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила ее: Антипыч не



раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена клюквой, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась! Где же был за это время брат, голодный, и как она забыла о нем, как она забыла сама себя и все вокруг!

Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани. И Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик его в другую сторону, где жили одни только сороки.

X

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал косач-токовик. И журавли прокричали три раза не как утром: «Победа!» — а похоже на: «Спите. Но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!»

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо того, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку; колокольчик замолчал; вслушавшись, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы сами что-то услыхали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была там беда.

Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей-скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв! Тяв!

И сразу поняла, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла: лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тявкает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет — тут-то она и схватит его на лёжке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону молча становится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка, точно так же как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню.

Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и даже, привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица.

Так вот одновременно сошлось — Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался: до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А Серый, наконец-то услыхав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии. Одни остались при маленьком человечке и кричали:

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно догадаться и разобраться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что зовут на помощь, — какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир? Разве что так...

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человеку.

Но подскочить совсем не могли: руки у человека были свободны. И вдруг сороки смешались: одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дракнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит.

Русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что эта гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок и все закричали по зайцу:

— Дри-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои скидки, не обращая на сорок


EP

никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди иногда, от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку, в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью, и там лег глазами к своему следу, на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее...

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.

И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг...

Зайцу повезло в этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум...

Можно догадаться: заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего «подальше от греха» и — ковыль-ковыль! — тихонечко вышел на обратный след, к Лежачему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела малень-

кого человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человека в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были, как два человека: один — Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч», — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно.

Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь: весь-то человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виднелся весь человек Антипыч,

и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало.

Если так дольше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое, и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова «травить», и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый, молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну! Ну! — сказал Антипыч. — Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем прямо от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой бы радостью бросилась она его спасать! Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то, если бы она не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи, со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас тем великим человеком, какой мерещился Травке.

Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал:

«Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал:

«Ползи только, ползи!»

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле и Травка бы бросилась на шею человеку, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил ее другой рукой за другую ногу.

Мгновенно вслед за тем он лег животом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут на тропе он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий, большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила



все свои колебания — перед нею стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и большой человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал нам перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем, эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уж немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой прерванный гон по зайцу. И понятно: Травка гончая собака, и дело ее — гонять и даже иногда догонять зайца для хозяина. Ей было очень тяжело гонять для себя, но для хозяина

Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он убьет зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе.

Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где стоял охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились... Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый Помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если только они еще живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, глядим, а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас верили — неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из тех, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого Помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а тоже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели: на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

— А вот смеялись, дразнили: Мужичок-в-мешочке!

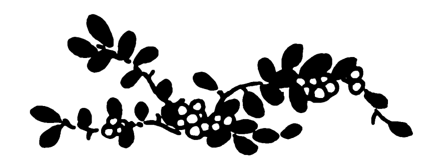
— Был мужичок, — отвечали другие, — да сплыл. Кто смел, тот два съел: не мужичок, а герой.

И тогда, незаметно для всех, прежний Мужичок-в-мешочке правда стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел,

высокий, стройный! И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал; напротив, все одобряли и что она благоразумно звала брата на торную тропу и что так много набрала клюквы. Но, когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие к девочке, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе, кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего, торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах, а многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут. Все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.





СОДЕРЖАНИЕ

РАЗГОВОР ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ

В КРАЮ ДЕДУШКИ МАЗАЯ

Для младшего и среднего возраста

Пришвин М. М.

ЗОЛОТОЙ ЛУГ

Ответственный редактор *Г. И. Гусева*
Консультант по художественному оформлению *П. И. Суворов*
Технический редактор *Т. М. Токарева*
Корректоры *Л. М. Короткина* и *К. П. Тягельская*

Сдано в набор 21/IX 1967 г. Подписано к печати 20/V 1968 г. Формат $70 \times 90^1/_{16}$. Печ. л. 22. Усл. печ. л. 25,74. (Уч.-изд. л. 15,62). Тираж 50 000 экз. ТП 1968 № 151. Цена 1 р. 47 к. на бум. № 1. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1.
Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Заказ № 165.





